# Многосказочный паша

**Автор:**
Фредерик Марриет

Многосказочный паша

Фредерик Марриет

«Всему свету известно, что на Востоке звание паши самое ненадежное. Ничто не выказывает так ясно свойственную людям жажду властвовать над себе подобными, как жадность, с какой подданные султана добиваются этого звания. Вступая в управление своим пашалыком, ни один из них не хочет и знать, что десятка два его предшественников погибли от рокового шнурка. Между тем властитель оттоманский, по-видимому, только для того и возвышает людей, чтобы ему было из кого выбирать свои жертвы. Впрочем, эта страсть не простирается у них так далеко, как у короля Дагомеи: говорят, что у того каждый день украшали лестницу дворца головами новых жертв, как мы украшаем наши покои свежими цветами. Все эти объяснения делаю я к тому, что не намерен вводить в свой рассказ хронологии, не намерен определять с достоверностью года или, скорее, нескольких месяцев жизни существа, которое – подобно некоторым породам цветов – поутру красуется во всем своем великолепии, а к вечеру склоняет засохшую головку к земле…»

Фредерик Марриэт

Многосказочный паша

Глава I

Всему свету известно, что на Востоке звание паши самое ненадежное. Ничто не выказывает так ясно свойственную людям жажду властвовать над себе подобными, как жадность, с какой подданные султана добиваются этого звания. Вступая в управление своим пашалыком, ни один из них не хочет и знать, что десятка два его предшественников погибли от рокового шнурка. Между тем властитель оттоманский, по-видимому, только для того и возвышает людей, чтобы ему было из кого выбирать свои жертвы. Впрочем, эта страсть не простирается у них так далеко, как у короля Дагомеи: говорят, что у того каждый день украшали лестницу дворца головами новых жертв, как мы украшаем наши покои свежими цветами. Все эти объяснения делаю я к тому, что не намерен вводить в свой рассказ хронологии, не намерен определять с достоверностью года или, скорее, нескольких месяцев жизни существа, которое – подобно некоторым породам цветов – поутру красуется во всем своем великолепии, а к вечеру склоняет засохшую головку к земле. Говоря о таких эфемерных созданиях, довольно сказать: «Жил-был некогда паша».

Однако надобно познакомить читателя с первыми годами жизни нашего паши; итак, долгом считаю довести до сведения всех и каждого, что он воспитан был в звании брадобрея. Обладая личной храбростью, он успел оказать своему предшественнику услугу и был за то награжден почетным чином в армии. Начальник его проиграл сражение; он же со своим отрядом разбил неприятеля, вследствие чего получил повеление обезглавить своего начальника и заступить его место в звании главнокомандующего. Все это, как верный подданный, привел он в исполнение с примерной скоростью. Новые успехи на военном поприще внушили ему мысль, что предшественник его слишком долго засиделся на своем месте. Он отправил на него донос, не забыв присовокупить тысячу мешков золота, и султан прислал паше роковой шнурок, а главнокомандующему войсками фирман на звание паши.

На другой день после получения известия о новом назначении, брадобрей, хитрый и умный грек по имени Мустафа, брил новопроизведенному паше голову. Брадобреи – люди привилегированные, у них всегда найдется предмет для разговора, и хотя часто рассказы их бессмысленны, но все же они развлекают несчастного страдальца, который на все время операции лишается свободного употребления всех органов, исключая уши. Сверх того, как-то нельзя не жить в ладу с человеком, у которого в руках наше горло.

Мустафа учился своему ремеслу, когда еще был рабом. На девятнадцатом году отправился он вместе с господином на купеческом корабле в Скио. На них

напали пираты и завладели судном. Димитрий – так звали молодого грека – присоединился к этой шайке разбойников. У них учился он искусству сносить человеческие головы, пока корсарское судно не попало во власть одного английского фрегата. Умный и деятельный, он втерся в экипаж, прослужил три года и участвовал в нескольких морских сражениях. По возвращении фрегата в Англию экипаж был распущен. Димитрий, вынув и» кармана последний шиллинг, должен был браться за ум и подумать о своем будущем, что ему прежде никогда не приходило в голову. Нося по улицам в небольшой коробке ревень, да еще несколько ливанских товаров, он успел скопить себе денег на проезд в Смирну, свое отечество. Корабль, на котором он отправился, попал в плен к французскому крейсеру, но его, как пассажира, высадили на берег. Вскоре добился он места камердинера у одного миллионера, и когда ему удалось утащить у своего господина несколько сот наполеондоров, он бежал от него и прибыл, наконец, в Грецию. Димитрий узнал свет; он подумал про себя, что, сделавшись правоверным, скорее выйдет в люди в Турции; надел на голову чалму и, удалившись со своей родины, занялся старым ремеслом: сделался брадобреем во владениях того паши, о несчастной кончине которого мы уже имели случай говорить. Мустафе удалось войти в милость к преемнику, когда тот был еще главнокомандующим. Паша был от рождения щедро наделен всеми дарами природы: он был очень мал ростом, очень толст, довольно безграмотен, порядочно глуп и терпеть не мог зла.

– Мустафа, – сказал паша, – ты знаешь, что по моему приказанию пали головы всех приближенных моего предшественника.

– Аллах кебир! Бог всемогущ! – отвечал Мустафа. – Так погибнут все враги Вашего Высокомочия! Все они были дети шайтана!

– Правда, Мустафа, – отвечал паша, – но теперь у меня нет визиря, и я не имею в виду такого человека, который бы мог занять это место.

– Во время управления Вашего Благополучия дитя может быть визирем. Возможно ли заблуждаться под руководством самой мудрости?

– Правда, Мустафа! Но руководить поступками визиря – то же, что самому быть визирем. И если бы мне случилось навлечь на себя немилость султана – на кого свалить вину? Иншаллах! По милости Аллаха голова визиря должна отвечать за мою.

– Мы ниже собак перед лицом Вашей Милости. Блажен тот, кто может пожертвовать своей головой для спасения вашей! Это будет счастливейший день в его жизни.

– Правда, Мустафа, но во всяком случае этот день будет ему последним.

– Если мне позволено будет говорить в присутствии Вашего Высокомочия, я осмелюсь заметить, что в звание визиря должен быть облечен человек с большим умом; необходимо, чтобы он умел вести дела так же искусно, как я брею голову Вашей Высокостепенности, не оставляя на ней ни одного волоска и не задевая кожи.

– Совершенная правда, Мустафа.

– Сверх того, он должен иметь собачье чутье на людей, недовольных правительством, и уничтожать их, как редкие седые волоски, которые я вырываю из великолепнейшей бороды вашей.

– Правда, правда, Мустафа.

– Потом следует очистить пашалык от всякого зла, точно так же, как я сегодня утром имел честь вычистить ваши величественные уши.

– Твоя правда, Мустафа.

– Ему должны быть знакомы все тайные пружины сердца человеческого, как мне известны все мускулы человеческого тела, чему может служить доказательством искусство, с каким я выправляю тело Вашего Благополучия после бани.

– Так, так, совершенная правда, Мустафа.

– Наконец, он должен быть вечно благодарен за милости, на него изливаемые.

– Все это совершенная правда, Мустафа, но где найти такого человека?

– Дурака или плута немудрено найти. Но трудно сыскать человека, который в лице своем соединял бы все исчисленные мною качества. Я знаю только одного такого человека.

– Кто же этот человек?

– Голова его служит подножием Вашему Благополучию, – отвечал Мустафа, падая ниц перед пашой, – преданнейший из рабов ваших, Мустафа.

– Святой Пророк! Как, ты, Мустафа? А что, и в самом деле, если одному брадобрею удалось сделаться пашой, почему же другому не быть у него визирем! Оно так, но где найти мне человека на твое место? Нет, Мустафа, нет! Хорошего визиря сыскать немудрено, но чтобы быть хорошим брадобреем, надо иметь способности.

– Точно так, но раб ваш видел многие отдаленные земли, где одни и те же люди исполняют совершенно различные должности, между тем как обязанности брадобрея и визиря почти одинаковы. Судьбы народов решаются часто за туалетом. Пока я брею голову Вашего Благополучия, вы можете сообщать мне свою волю и в одно время печься о благоустройстве своего пашалыка и о чистоте своей высокой особы.

– Совершенная правда, Мустафа. Я согласен сделать тебя визирем, с условием, чтобы ты остался моим брадобреем.

Мустафа снова пал ниц. Встав, он продолжал свою операцию.

– Умеешь ли ты писать, Мустафа? – спросил паша после минутного молчания.

– Писать! Мин Аллах! Аллах да сохранит меня от этого проклятого знания! Тогда я был бы недостоин занимать место, на которое Вашему Благополучию благоугодно было возвести подлейшего из рабов.

– Но я думаю, что уметь писать необходимо визирю, если это не нужно для паши?

– Уметь немного читать – это так! Но писать – это никуда не годится. Я могу доказать, что это проклятое знание как полезно, так и вредно, особенно для людей высшего звания. Например, Ваше Благополучие отправили султану письменное донесение; оно вдруг ему не понравится – и он лишит вас своей милости. Но если, напротив, вы пошлете словесное донесение, то можете всегда отречься от своих слов и для совершенного доказательства вашей невинности заколотить палками того, кого посылали к Его Султанскому Величеству.

– Совершенная правда, Мустафа.

– Дед раба вашего был главным сборщиком податей. Он всегда приходил в бешенство, когда ему случалось брать в руку перо. «Послушай, Мустафа, – говорил мне дед, – вот какие ужасные последствия влечет за собой это проклятое письмо. Теперь, получая деньги, должен я давать расписки. Правительство теряет через это тысячи цехинов, потому что когда потребуешь вторичных денег, тебе показывают расписки. Подумай, что без этого я бы мог брать с них те же деньги, если не три, так уж наверное два раза. Помни, Мустафа, что грамота ни к чему не служит».

– Совершенная правда, Мустафа, поэтому мы никогда не будем писать.

– Брать расписки с других не мешает, но самим давать их – да сохранит нас от этого Аллах! У меня есть невольник – грек, он хорошо читает и может быть при случае полезен Вашему Благополучию. Я заставляю его иногда читать мне повести из «Тысячи и одной ночи».

– Повести? Какие повести?

– Сказки, Ваше Благополучие! Если вам угодно послушать их, то раб мой ждет ваших приказаний.

– Приведи его вечером, Мустафа. Выкурив по трубке, мы послушаем его. Я очень люблю повести: они всегда усыпляют меня.

Весь этот день два бывших брадобрея исправляли дела свои как нельзя лучше. Диван их походил на шайку разбойников, засевших на большой дороге, которые каждому прохожему приставляли к горлу нож и говорили: «Жизнь или кошелек!»

По окончании дивана добытые таким образом деньги заперли в кладовые, палачи вытерли кровь с секир своих, и подданные паши были оставлены в покое до следующего утра.

Вечером, по приказанию паши, пришел Мустафа со своим невольником. Визирь сел на подушке у ног паши, им подали трубки, и греку велено было начать чтение.

Грек дошел до конца первой ночи, в которую Шехерезада начинает свою историю, и султан, любопытствуя услыхать конец ее, откладывает казнь до следующего дня.

– Стой! – воскликнул паша, вынув изо рта свою трубку. – Задолго ли до рассвета начала Шехерсзада рассказ свой?

– Около получаса, Ваше Благополучие.

– Аллах! Да неужели в полчаса она успела только это рассказать? В моем гареме каждая женщина расскажет это самое в пять минут.

Паше так понравились эти повести, что он, слушая их, почти никогда не засыпал, и невольник-грек должен был читать их всякий вечер до тех пор, что ноги его подгибались от усталости и язык едва ворочался. Наконец не осталось ни одной повести. Их прочитали еще раз. Когда не стало более повестей, паша, не зная как убить время, стал скучать и иногда приходил в такое бешенство, что сам Мустафа подходил к нему с трепетом.

– Я думаю, Мустафа, – сказал паша своему визирю однажды утром, когда тот брил его, – я думаю, что мне так же легко найти себе рассказчиков, как и халифу «Тысячи и одной ночи».

– Кто же в этом смеет сомневаться? Не позволит ли Ваше Благополучие рабу своему помочь привести в исполнение ваше желание?

– Нет, мне не нужно ничьей помощи. Приходи сегодня вечером и ты узнаешь мою волю.

Вечером Мустафа явился. Паша курил трубку и, казалось, о чем-то размышлял. После чего вдруг ударил три раза в ладоши и приказал невольнику позвать Зейнабу, любимую одалиску своего гарема.

Зейнаба явилась, закутанная в покрывало.

– Какое удовольствие может доставить раба своему владыке?

– Любишь ли ты меня, Зейнаба? – спросил ее паша.

– Не должна ли я обожать и самый прах, попираемый ногами моего господина?

– Совершенная правда; по, Зейнаба, я бы хотел спросить тебя… я тебя прошу… я желаю, чтобы ты как можно скорее обесчестила гарем мой.

– Валлах эль неби! Велик Аллах и пророк его! Ваше Благополучие сегодня что-то веселы! – сказала Зейнаба, повертываясь, чтобы выйти.

– Напротив, я говорю тебе очень серьезно; я требую, чтобы ты исполнила мою волю.

– Господин мой призвал сюда рабу свою для того, чтобы посмеяться над ней? Обесчестить гарем! Аллах да сохранит меня от этого! Не готов ли уже евнух с мешком, чтобы наказать меня?

– Может быть, но это моя воля. Будешь ли ты повиноваться или нет?

– Я никогда не повинуюсь таким приказаниям. Не посетил ли Аллах моего господина, или в него вселился шайтан? – и Зейнаба выбежала из комнаты, заливаясь слезами досады и гнева.

– Вот повиновение! – воскликнул паша. – Женщины всегда найдут в чем бы противоречить. Требуй от них верности – они день и ночь будут искать случая изменить тебе; напротив, прикажи им изменить – они откажутся от повиновения. А все было так хорошо придумано! Я хотел рубить головы у всех женщин и всякий раз брал бы себе новую жену до тех пор, пока не нашлась бы такая, которая умела бы рассказывать мне истории.

Мустафа, который сначала смеялся исподтишка над странной идеей паши, заметил наконец, что желание слушать повести глубоко укоренилось в его повелителе и что эта страсть впоследствии может повредить ему.

– Такого плана только и можно было ожидать от самой мудрости. Разве пророк – да будет благословенно его имя – не говорит, что и мудрейшие предприятия встречают иногда противоречие в глупости и упрямстве женщин? Раб Вашего Благополучия осмеливается напомнить, что халиф Гарун-аль-Рашид слыхал очень много прекрасных историй, прогуливаясь переодетый по улицам со своим визирем Мезруром. Если бы Вашему Благополучию заблагорассудилось подражать в этом мудрому Рашиду с рабом вашим, может быть, мы и услыхали бы кое-что.

– Совершенная правда, Мустафа, – отвечал паша, которому предложение это очень понравилось. – При-готовь же два платья, в полночь мы отправимся. Иншаллах! Паша без повестей все равно, что паша без бунчуков! Я хочу, чтобы у меня была тысяча и одна сказка, и тогда я буду тысяча-и-однобунчужным пашой.

Мустафа, радуясь, что успел дать счастливый оборот идеям паши, спешил приготовить два купеческих платья. Он знал, что мог польстить этим самолюбию паши, потому что халиф арабских сказок ходил в такой же одежде.

Была уже ночь, когда паша, в сопровождении своего визиря, вышел из дворца. В некотором отдалении следовали за ними вооруженные невольники на случай надобности в помощи. Благодаря приказаниям нового паши, чтобы не было народных сборищ, и бдительности патрулей, улицы были совершенно пусты.

Паша прогуливался уже некоторое время, не встречая ничего, что бы могло привлечь его внимание; отвыкнув ходить пешком, он начал уже уставать, как вдруг, на углу одной улицы, заметил он двух человек. Один из них говорил: «Я говорю тебе, Коя, что блажен, кто может всегда иметь корку хлеба, какой я вот теперь ломаю последние зубы».

– Я хочу знать, что означают эти слова, – сказал паша. – Мезрур – Мустафа, хотел я сказать, – приведи этих людей завтра ко мне по окончании дивана.

Мустафа поднял руку ко лбу в знак повиновения и велел невольникам схватить беседовавших. Он последовал за своим повелителем, который, устав от продолжительной прогулки, направил шаги прямо во дворец, где и лег в постель. Зейнаба, которая намеревалась прочитать ему проповедь о приличии и трезвости, не спала до тех пор, пока глаза ее невольно закрылись, и паша мог без помех последовать ее примеру.

Возвратясь домой, Мустафа велел позвать к себе одного из схваченных.

– Почтеннейший! – сказал он. – Нынешней ночью ты произнес слова, которые дошли до высоких ушей Его Благополучия, нашего милостивого паши; он желает знать, что означает твое замечание: «Блажен, кто может всегда иметь корку хлеба, такую же черствую, какой я ломаю себе теперь последние зубы!» Что означают эти слова, собака? Ты недоволен правлением нашего мудрого паши? Ты изменник, бунтовщик?

– Клянусь верблюдицей пророка – да будет благословенно имя его! – что никогда и не думал об этом! – отвечал тот, падая со страха на колени.

– Раб, я не верю тебе! – воскликнул гневно Мустафа. – В этих словах есть много загадочного. Кто знает, может быть, милостивый паша наш есть та самая корка, которую ты желал бы грызть своими нечистыми зубами?

– Святой пророк! Да не попадет в рай душа раба вашего, если я произнес что-нибудь худое! Если бы вы, подобно мне, были иногда без куска хлеба, то поверили бы справедливости моего замечания.

– Поверил бы или нет – тебе до этого нет дела! Но скажу тебе только, что Его Благополучие, наш милостивый паша, – да не уменьшится тень его – останется спокоен только тогда, когда ты расскажешь ему несколько хорошеньких повестей, из которых бы можно было видеть справедливость сказанного тобой.

– Аллах да сохранит меня! Могу ли я обманывать Его Благополучие, рассказывая повести?

– Одним словом, если ты расскажешь Его Благополучию хорошую историю, и она ему понравится, он даст тебе денег; в противном случае приготовься получить несколько палочных ударов, если не к смерти. Ты не ранее как завтра будешь

представлен перед светлые очи нашего милостивого паши, а в это время ты можешь придумать, что рассказать ему.

– Да будет дозволено рабу вашему сходить домой и посоветоваться с женой! Женщины имеют дар сочинять повести. С помощью жены мне, может быть, удастся исполнить вашу волю.

– Нет, ты должен остаться здесь под строгим присмотром. Но если жена твоя может помочь тебе, я дозволяю послать за ней. В том нет никакого сомнения, что женщины имеют дар сочинять. Как крокодил, тотчас по рождении своем, бросается в воды Нила, так точно женщина, только успеет родиться, уже погружается в море лжи!

Сказав этот комплимент прекрасному полу, Мустафа велел вывести несчастного.

Пригодилось ли ему позволение посоветоваться с женой, увидим из следующей истории, которую он рассказал паше, когда на другой день был позван к нему.

## История погонщика верблюдов

Я нисколько не удивляюсь, что Ваше Благополучие желаете иметь объяснение слов, которые подлейший из рабов ваших осмелился произнести вчера ночью. Но я надеюсь, что, дозволив мне рассказать приключения моей жизни, вы согласитесь с моим мнением.

По одежде вы уже можете видеть, что я феллах[1 - Простолюдин.] этой страны, но не всегда был я так беден, как теперь. У отца моего было много верблюдов, и он отдавал их купцам для караванов, которые всякий год отходят из этого города. После смерти отца, я, вступив во владение его имуществом, сумел сохранить благорасположение тех, которым отец мой несколько лет служил верно. Следствием этого было то, что я стал мало-помалу наживать деньги, а верблюды мои были все в хорошем состоянии. Отправляясь всегда с караванами сам, имел я счастье несколько раз посетить Мекку, доказательством чему служит эта изодранная зеленая чалма. Жизнь моя протекла между опасностей и удовольствий. После трудных и преисполненных разного рода неприятностями странствований я возвращался к жене и детям и наслаждался семейным счастьем до тех пор, пока обязанности не отвлекали меня снова от блаженства

семейной жизни. Я трудился и богател.

Однажды, во время странствования моего с караваном по пустыням, моя любимая верблюдица родила. Сначала я хотел бросить новорожденного, потому что верблюды мои измучились и были навьючены донельзя. Но, рассматривая маленького, я нашел его здоровым и статным и решился взрастить его. Разделив ношу матери его между другими верблюдами, я взвалил сына ей на спину. Мы благополучно прибыли в Каир, и я очень радовался, что сохранил жизнь верблюжонку. Знатоки говорили про него, что это перл верблюдов, и предсказывали, что он со временем удостоится чести нести священный Коран при путешествии в Мекку. Точно! Пророчество это исполнилось по истечении пяти лет; все это время я не переставал заниматься ремеслом своим и час от часу делался богаче.

Когда верблюду исполнилось пять лет, он превосходил красотой всех своих товарищей и целыми тремя футами был выше их. В это время правоверные собирались совершить священное путешествие в Мекку; я представил моего верблюда шейху, как достойнейшего чести нести на себе коран пророка. Шейх хотел было уже расплатиться со мной, как откуда ни возьмись дервиш, который отсоветовал ему брать моего верблюда, говоря, что в таком случае странствование будет несчастливо.

Все почитали дервиша пророком, и шейх не знал, на что решиться. Раздосадованный этим, я обругал дервиша; он поднял шум, и большая часть народа вступилась за него. Меня чуть не убили, но я дал тягу. Проклятый дервиш бросил в меня песком, крича во все горло: «Так погибнет и весь караван, если изберут его проклятого верблюда нести священные слова пророка!»

Следствием этого было то, что выбрали другого верблюда, гораздо хуже моего. Надежда моя лопнула. Но на другой год дервиша не было в Каире, и так как красивее моего верблюда не было в городе, то шейхи и выбрали его.

Обрадованный таким счастьем и в уверенности, что верблюд принесет благословение на дом мой, опрометью бросился я к жене. Она радовалась не менее меня, и, казалось, мой красивый верблюд тоже предчувствовал свое счастье: он вытягивал шею и клал голову ко мне на плечи.

Караван уже собрался. Это был один из многочисленнейших, которые когда-либо отходили из Каира; он состоял из восемнадцати тысяч верблюдов. Можете вообразить, как гордился я, показывая жене на процессию, которая тянулась по улицам города, на счастливого верблюда, которого вели за узду, унизанную золотом и драгоценными каменьями, под звуки музыки и под торжественное пение мужчин и женщин.

Когда на ночь караван остановился за городом, я поспешил к жене и детям, поручив надзор над верблюдами одному из своих помощников. Наутро простился я с домашними, и только что хотел выйти из дома, как маленький сын моей, едва двух лет от роду, воротил меня своим криком, чтобы я последний раз поцеловал его. Я взял малютку на руки; он, по обыкновению, сунул ручонку свою ко мне в карман, надеясь найти там плоды, которые я приносил всегда для него, возвращаясь с базара. Но в кармане было пусто. Я передал ребенка жене и поспешил из дому, чтобы не отстать от каравана. Вашему Благополучию должно быть известно, что у нас обыкновение ставить верблюдов один подле другого, а не один за другим, как делается то в других караванах. Целый день прошел в необходимых приготовлениях, и на заходе солнца мы пустились в путь. Через две ночи мы прибыли к Хаджару; тут пробыли мы три дня, чтобы запастись водой и дать отдохнуть верблюдам нашим, и потом пуститься в длинное изнурительное странствование по пустыне Эль-Тиг.

Во время нашей стоянки я сидел, окруженный верблюдами, отдыхавшими на коленях, и курил трубку, и вдруг заметил со стороны Каира быстрого дромадера, который, подобно молнии, промчался мимо меня; однако я успел во всаднике его узнать того самого дервиша, который за год перед сим предсказывал несчастие каравану, если выберут моего верблюда нести священную книгу пророка.

Дервиш остановил своего дромадера у самой палатки хаджи эмира, предводителя каравана. Зная, что там будет речь о моем верблюде, я поспешил туда же. Я не ошибся. Дервиш пророчествовал эмиру и окружавшему его народу погибель целого каравана, если тотчас же не убьют моего верблюда и не выберут на место его другого. Говоря таким образом, он повернул своего дромадера к востоку и через минуту исчез из вида, оставив всех в большом смущении.

Эмир был в недоумении, в толпе возникли разные толки. Опасаясь, чтобы не поверили дервишу и не лишили меня верблюда, а его – возложенной на него чести, я решился соврать.

– О, эмир, – говорил я, – не слушай предсказаний этого дервиша! Он враг мой. Несколько лет тому назад вошел он в дом мой; я накормил и напоил его, а он в благодарность хотел обесчестить мать детей моих, и я прогнал его. С тех пор ищет он случая отомстить мне. Клянусь всеми моими верблюдами в справедливости этих слов!

Мне поверили, никто уже не сомневался в злобе дервиша, и мы продолжали путь наш по пустыне Эль-Тиг.

Если дела правления не позволили Вашему Благополучию совершить странствования в Мекку, то вы не можете вообразить себе той страны, по которой мы двигались. Эти пустыни подобны морю, где песок вздымается ветром, как волны, и засыпает человека.

Вопреки предсказаниям дервиша, с нами не случилось ничего особенного, и после семисуточного странствования мы благополучно достигли Нахеля, где остановились для наполнения водой опустевших бурдюкон. У колодца знакомые мои смеялись над глупыми предсказаниями дервиша. Мы снова двинулись в путь; нам оставалось еще трое мучительных суток до Акабы.

Наутро другого дня, едва успели мы разбить палатки, как ужасное пророчество дервиша стало оправдываться, и наказание Божие готовилось разразиться над моей головой за ложь мою.

На горизонте показалось темное облако, которое поминутно росло и делалось желтее. Поднимаясь выше и выше, оно заволокло полнеба, и, наконец, целые горы песка, влекомые ураганом, засыпали наши богомольные головы. Блестящая палатка эмира первая подверглась порыву ветра и с быстротою молнии пронеслась мимо меня, между тем как песок засыпал одних, а ветер уносил других к шайтану.

Столбы песка ходили над нашими головами и засыпали животных и людей; верблюды утыкали морды в песок, и мы, как будто слушаясь их инстинкта, зарывали головы в песок и молча в страхе предались судьбе своей. Но самум еще не со всем ужасом разразился над нами: через несколько минут сделалась такая темень, что в двух шагах нельзя было различить Ничего, но еще ужаснее были стоны умирающих женщин, бешенство лошадей и верблюдов, которые, сорвавшись, бегали взад и вперед и давили тысячи Людей, подобно им бегавших

в надежде спастись от урагана.

Я лег подле моего верблюда и, уткнув под него голову, с чувством человека, которому известно, что гнев Аллаха должен разразиться именно над его головой, ожидал смерти. Целый час пробыл я в этом положении, и, верно, сам шайтан не мог изобрести тех мук, которые я претерпел в это время. Песок жег меня сквозь платье, кожа моя трескалась, и я вдыхал в себя раскаленный воздух. Наконец начал я дышать свободнее, ветер стал дуть слабее. Я высунул голову, глаза мои ничего не видели, кроме какой-то желтизны. Я думал уже, что совершенно ослеп: какую же надежду может питать слепой в пустыне Эль-Тиг? Я бросился снова на песок; жена и дети представились моему воображению, и я заплакал.

Слезы несколько облегчили мои страдания. Я чувствовал, что ожил, снова поднял голову – я видел!

Я упал на колени и благодарил Аллаха за свое чудное спасение. Я встал; да, я видел, но какое зрелище представилось глазам моим! Теперь я благодарил бы небо, если бы лишился зрения. Небо было чисто, но где тысячи моих товарищей? Где толпы людей и животных? Где хаджи-эмир с его войском? Где мамелюки, аги, янычары, и святые шейхи, и святой верблюд? Где музыканты, певцы, представители всех племен, которые сопровождали караван? Погибли все! Горы песка показывали те места, где погребены их бренные останки, а только кое-где проглядывали члены людей и животных, не зарытые еще песчаной волной. Все погибло – кроме одного! И этот один был я! Аллах даровал мне жизнь, чтобы я мог видеть зло, уготованное моей ложью, моим преступлением.

Несколько минут смотрел я бессмысленно вокруг себя: мне казалось, что я должен претерпеть смерть еще ужаснее. Я вспомнил про жену и про детей и поклялся, если возможно, сохранить жизнь свою, к которой теперь, кроме них, ничто меня не привязывало! Я оторвал лоскут от чалмы, вытер кровь и пошел по пустыне смерти.

Между волнами песка нашел я несколько еще не заваленных верблюдов. Я увидал бурдюк и бросился к нему, чтобы утолить мучительную жажду, которая терзала меня, но мешок был сух! Вода испарилась из него до последней капли. Я отыскал другой, но и в нем ничего не было. Тут решился я разрезать одного из верблюдов, чтобы водой, которую думал найти в его желудке, затушить жар, сжигавший меня. Ожидания не обманули меня; я выпил вонючую воду, которая

теперь показалась мне вкусной. Напившись, поспешил я разрезать всех верблюдов, пока они еще не начали гнить, и водой, находившейся в их внутренностях, наполнить половину меха. Исполнив это, я возвратился к своему верблюду, под которым скрывался от самума, и, сев на труп животного, придумывал, что мне делать. Я знал, что в дне пути находились источники, но добраться до них было очень для меня трудно. Я не надеялся на свои силы, но вечер приближался, и я решил попытаться.

Едва только солнце успело закатиться, я встал и, взвалив мешок с водой на спину, пустился в безнадежное путешествие. Проблуждав ночь, я полагал, что прошел половину караванного пути; мне оставалось еще целый день пробыть в пустыне без всякой защиты от солнца и на целую ночь утомительного пути. У меня было достаточно воды, и не было ни куска хлеба. Солнце взошло, и я сел на песчаный пригорок и целых двенадцать часов провел под палящими лучами солнца. Около полудня мне казалось, что от чрезмерного зноя я потерял рассудок: то представлялись мне озера, и я так был уверен в их существовании, что вставал и пытался идти к ним, но, обессиленный, снова падал на песок; то различал я ветви акаций, качаемые ветром, и бежал туда, чтобы успокоиться под их тенью, но находил там лишь куст терновника.

Так прошел этот ужасный день, при мысли о котором содрогаюсь и теперь. Наступил вечер, блестящие звезды манили меня снова в путь. Напившись воды из мешка, пустился я в дорогу. По костям верблюдов и лошадей, погибших в этой пустыне, шел я, и когда заря начинала уже заниматься, мне представился в некотором отдалении город Акаба. Оживленный надеждой, я сбросил мешок, ускорил свои шаги и через полчаса лежал уже на берегу источника и жадно пил живительную влагу. О, как счастлив был я в эту минуту! Как сладко было мне лежать под тенью деревьев, вдыхать прохладный воздух, слушать чириканье птичек и впивать в себя аромат цветов, которые украшали это прелестное местечко!

Через час я разделся, выкупался, еще раз напился и погрузился в глубокий сон.

Радостно было мое пробуждение, но голод мучил меня. Три дня не было у меня во рту ни крошки, но до тех пор чрезвычайная жажда отбивала у меня аппетит. Час от часу голод более и более мучил меня. Я вставал, окидывал степь глазами в надежде увидать караван, но тщетно смотрел я и снова возвращался к источнику. Прошли еще два дня, но помощи не было видно ниоткуда. Лежа под тенью дерева, слушая пение птиц и прохлаждаемый легким ветерком, лучше

желал бы я погибнуть в пустыне вместе со своими товарищами, чем в этом земном раю умереть от голода. Я лежал, лишенный сил, и ожидал смерти. Тихое журчание ручейка звало взглянуть на него в последний раз; я повернулся и вдруг почувствовал что-то жесткое под боком. Я думал, что это камень, и хотел отбросить его, но ничуть не бывало: у меня было что-то в кармане. Я схватился за карман и, не зная, что там такое, вытащил, взглянул, и – представьте мое удивление – в кармане был кусок черствого хлеба. Я думал, что он послан был самим небом! И точно! Это был дар невинности и любви, дар моего дитя, который оно положило мне в карман при прощании, когда я думал, что оно ищет там плодов. Я подполз к источнику, размочил в нем хлеб и съел его с живейшей благодарностью Аллаху, с глубоким чувством родительского сердца.

Корка эта спасла мне жизнь. На другой день заметил я маленький караван, который шел в Каир. Купцы обошлись со мной как нельзя лучше, посадили на одного из своих верблюдов, и Аллах допустил меня обнять мое семейство, которое с тех пор я уже не оставлял более. Я сделался беден, но доволен. Я заслуживал лишения всех моих сокровищ, и без всякого ропота покоряюсь воле милосердного!

Узнав теперь мое приключение, Ваше Благополучие согласитесь, что я был прав, говоря, что блажен тот, кто всегда может иметь корку хлеба, такую же черствую, какой теперь ломаю последние зубы.

– Совершенная правда, – заметил паша. – Твоя история недурна. Мустафа, дай ему пять золотых, и пусть идет домой.

Погонщик верблюдов распростерся перед пашой, потом встал и оставил диван, радуясь, что так счастливо отделался от угрожавшей ему опасности. Паша некоторое время молча пускал изо рта густые клубы дыма, потом заметил:

– Аллах Кебир! Бог всемогущ! Этот человек претерпел очень много, и что получил он за это? Зеленую чалму – титул хаджи! Не воображал я, чтобы повесть о черствой корке была так хороша! Его описание самума иссушило мне внутренности. Как ты думаешь, Мустафа, может ли правоверный, без путешествия ко гробу пророка, попасть на небо?

– Священная книга говорит, Ваше Благополучие, что всякий правоверный этим путешествием – если он может совершить его – прокладывает дорогу к небу.

Мин Аллах! Кто может! Да было ли когда время Вашему Присутствию пускаться в такое долгое странствование? И разве это помешает попасть Вашему Благополучию в рай?

– Совершенная правда, Мустафа: у меня никогда не было времени. В молодости брил я головы, потом – о, Аллах! – потом мне было довольно дела оголять их, а теперь разве я не занят? Я рублю головы. Не так ли, Мустафа? Не слово ли это самой правды?

– Ваше Благополучие – ваша правда. Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет прорех его! Когда он говорил, что путешествие к гробу его есть гладкий путь к небу, то он хотел это заметить исключительно тем, кто ничем не занят, а не тем из правоверных, которые трудятся во имя Аллаха.

– Мин Аллах! Да сохранит нас Аллах! Твои слова справедливы, – сказал паша. – В самом деле, что бы было, если бы всякий из правоверных ходил в Мекку?

– Мнение раба Вашего Благополучия, что все дураки пустились бы в Мекку.

– Совершенная правда, Мустафа. Но самум совершенно иссушил мое горло. Чем бы промочить его? Гаким запретил мне пить щербет.

– Правда, святой пророк запретил правоверным пить вино, но в случае болезни он позволяет это. Ведь Ваше Благополучие чувствуете себя немного нездоровым? Аллах Керим! Бог милосерден! Так для чего же Аллах и дал нам вино? Для того, чтобы правоверные могли предвкушать наслаждения, ожидающие их на небе.

– Мустафа, – сказал паша, вынимая изо рта трубку. – Клянусь бородой пророка, слова твои – слова самой мудрости. Неужели паша должен пить только щербет и питаться одними арбузами? Истаффир Аллах! Для чего же вино-то? Раб, принеси мне кружку! Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет пророк его!

– Слова пророка, Ваше Благополучие, чисты, как вода. Он говорит: «Правоверные не должны пить вина», это значит, что поклонники его не должны ходить пьяные по улицам, как неверные, которые приезжают сюда на своих кораблях. Отчего запрещено вино? Оттого, что оно делает людей пьяными. Следовательно, если мы не будем напиваться, то не преступим закона. Для чего дан закон?

Законы не для всех; они даются для того, чтобы удерживать, обуздывать большинство – не так ли? Какие люди составляют большинство? Разумеется, бедные. Если бы законы писались для богатых и знатных, то они не могли бы быть приспособлены ко всем. Машалах! Для пашей закон не существует; они должны только веровать в то, что нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет пророк его! Не правда ли раба вашего?

– Совершенная правда, Мустафа, – сказал паша; потом взял фляжку с вином и, продержавши ее некоторое время у губ, подал визирю.

– Аллах Керим! Бог милосерден! Рабу должно пить: это воля Вашего Благополучия. Разве я сижу не в светлом присутствии вашем? Может ли солнце светить без тепла? Поэтому, разве я не должен пить, когда Ваше Благополучие пьете? Аллах Акбар! Кто осмелится не следовать примеру паши?

С этими словами Мустафа поднес ко рту фляжку, и она, казалось, прилипла к губам его.

– Я думаю, что не худо было бы записать эту повесть! – заметил паша после некоторого молчания.

– Я уже отдал приказание Вашего Благополучия и думаю, что невольник-грек занимается теперь исправлением слога, чтобы приятно было высоким ушам вашим, если вздумается Вашему Благополучию еще раз прослушать эту повесть.

– Это хорошо, Мустафа. Мне помнится, что халиф Гарун-аль-Рашид велел записывать повести золотыми буквами. Мы будем делать то же.

– Но искусства этого уже не существует, Ваше Благополучие.

– Ну так мы будем писать их индийскими чернилами, – сказал паша, взяв снова фляжку и осушив ее.

– Солнце скоро зайдет, Мустафа; не забудь, мы пойдем сегодня искать рассказчиков.

## Глава II

Напившись кофе, паша пустился с визирем своим и вооруженными невольниками отыскивать себе рассказчиков. В эту ночь он был счастливее: не прошло и получаса, как он приметил у питейного дома двух человек, которые о чем-то громко спорили. Этот дом посещали невольники и приезжавшие франки и греки, но иногда и правоверный, забыв заповедь пророка, забегал в него с заднего крыльца.

Паша остановился, стал прислушиваться, и до его высоких ушей дошли такие слова:

– Я уверяю тебя, Ансельмо, что этого вина пить нельзя. Если бы ты отведал вина, в котором кисли жид, турок и эфиоп, то наверно согласился бы с моим мнением.

– Убирайся ты к черту со своими жидами и турками! – отвечал Ансельмо. – Я тоже не осел и пил такое вино, какого ни дед, ни отец твой, да и сам султан никогда не пивали.

– Мне бы хотелось знать, – сказал паша, – что там этот мошенник говорит о турках и почему вон та собака знает, что наш султан – да не уменьшится тень его – не пивал такого вина, как он?

Наутро представили беседовавших у кабака пред светлые очи паши, и тот потребовал немедленного объяснения слов: «Вино, в котором кисли жид, турок и эфиоп».

Несчастный грек – это был грек – ударился головой об пол.

– Если Ваше Благополучие, – сказал он, – поклянетесь бородой пророка, что не сделаете мне ничего худого, когда я расскажу историю моей жизни, то подлейший из рабов ваших с радостью готов повиноваться вашим повелениям.

– Машаллах! Чего боится этот гяур? Какое преступление совершил он, что просит у меня прощения? – сказал паша Мустафе.

– Да сохранит меня Бог, чтобы я стал замышлять что-нибудь в пашалыке Вашего Благополучия! – сказал несчастный.

– Ваше Благополучие! – заметил Мустафа. – Он уверяет, что преступление совершилось в другом пашалыке. Положим, что оно ужасно, может быть, даже убийство, но мы заботимся только о цветах, которыми украшаем наши вазы, и нам вовсе нет дела до цветов соседей: так точно и тут. Вашему Благополучию едва достает время печься о благосостоянии своих подданных, а не то, чтобы вмешиваться в дела других пашей!

– Совершенная правда, Мустафа, – сказал паша и добавил, обращаясь к греку: – Хорошо, я обещаю тебе, начинай!

Грек встал и начал свою повесть.

Повесть невольника-грека

Родом я грек; отец мой, бедный бочар, жил в Смирне. Он обучил меня своему ремеслу. Мне исполнилось двадцать лет, когда он умер, и я, чтобы не умереть и самому с голоду, определился к жиду, винному продавцу, и пробыл у него три года. Мало-помалу, благодаря моему прилежанию и исправности, успел я приобрести совершенное доверие моего хозяина. Он сделал меня первым своим приказчиком, и хотя я еще продолжал заниматься своим прежним ремеслом – заколачиванием обручей, часто, однако, поручал мне закупку и продажу вина.

Под моим присмотром работал невольник-эфиоп – презлая и преленивая бестия; от побоев он делался еще хуже, беспрерывно ворчал и не хотел ничего делать. Я его ужасно боялся и несколько раз просил хозяина прогнать проклятого эфиопа. Но черный шайтан был силен, и если хотел, поднимал целую бочку с вином, по этой причине жадный еврей и не слушал меня.

Однажды утром вхожу я в мастерскую, где делались бочки, и вижу, что наш эфиоп преспокойно храпит себе подле бочки, за которой я пришел, полагая, что она кончена; она была нам очень нужна. Боясь сам наказать лентяя, побежал я к хозяину, чтобы тот собственными глазами увидел, как прилежно трудится его работник. Жид мой взбесился, взял палку и ударил эфиопа по голове так, что тот вскочил, но, увидев хозяина, да еще и с палкой в руках, удовольствовался только

бранью; проворчал, что он в другой раз не позволит обращаться с собой таким образом, и принялся за работу. Едва только хозяин успел выйти, эфиоп, зная, что я был причиной побоев, схватил палку и хотел ею размозжить мне голову, но я успел увернуться и дал тягу. Эфиоп за мной, но, к счастью, он наткнулся на скамью и растянулся на полу. Тут пришла и моя очередь. Я тоже схватил палку, и едва враг мой хотел подняться на ноги, я замахнулся и изо всей силы так хватил его, что он тут же растянулся мертвым.

Я испугался, и хотя, с одной стороны, был твердо уверен, что поступил нисколько не предосудительно, но, с другой, я знал, что жид мой рассердится, будет жаловаться кадию, и мне без свидетелей придется очень трудно от него отделаться. Вдруг счастливая мысль блеснула в голове моей: я вспомнил, что эфиоп хвалился больше не позволять с собой дурно обращаться, и я решился припрятать убитого эфиопа подальше и надуть жида, сказав, что невольник, рассердившись на него за давнишние побои, убежал.

Осталось еще одно препятствие: я не знал, каким образом вынести труп из мастерской, чтобы никто того не заметил. Думал, думал и наконец придумал. Собрав все свои силы, я поднял эфиопа и положил в бочку, набил обручи, заколотил ее и преспокойно покатил в погреб, где стояло вино. Прикатив туда, я налил ее вином и поставил в тот угол, где стояли бочки, приготовлявшиеся к продаже на будущий год; наконец-то я вздохнул свободнее.

Только что успел я поставить бочку, вошел хозяин, и первый вопрос его был, не видал ли я эфиопа. Я отвечал, что он, окончив бочку, вышел из мастерской, поклявшись никогда более не работать.

Жид, боясь потерять своего невольника, а пуще того заплаченные за него деньги, бросился к кадию, объявил о побеге эфиопа и просил распорядиться поймать его, но все поиски были тщетны: мнимо убежавшего нигде не нашли. Жид подумал, что невольник его с отчаяния утопился и, к моему удивлению, скоро совсем забыл о нем.

Я работал по-прежнему; и теперь, имея надзор над всем, мог легко когда-нибудь выпроводить эфиопа из погреба.

Однажды весной занимались мы, по обыкновению, переливанием вина из одной бочки в другую. Вдруг в погреб ввалился ага-янычар. Он был не слишком-то

ревностный исполнитель заповедей пророка и любил выпить. Не доверяя никому покупку вина для своей особы, он всегда сам приходил к нам в погреб и выбирал себе бочку по вкусу. Эту бочку восемь дюжих невольников клали на носилки и занавешивали ее, чтобы народ думал, что несут купленную невольницу для гарема, а не воспрещенный пророком напиток. Хозяин мой предложил ему целых два ряда бочек, которые назначены были продаваться в этом году. Попробовав из каждой, ага сказал: «Друг Изахар, я знаю, соотечественники твои любят ставить все скверное наперед, а лучшее оставлять напоследок. Вели-ка твоему греку налить вот из той бочки, что стоит сзади». Тут показал он на ту самую бочку, где был спрятан эфиоп. В полной уверенности, что ага лишь только поднесет из нее вино ко рту, так и выплюнет, я нацедил кружку и подал ее аге. Он попробовал, еще раз попробовал и, обратившись к моему хозяину, закричал:

– Ах ты жидовская собака! И ты смеешь показывать мне скверное вино и прятать такое, от которого бы не отказались и гурии пророка!

Жид уверял агу, что это вино «еще не устоялось и не имеет такой крепости, как первое. Я подтвердил его слова.

– На, попробуй, собака, и потом сравни его с первым, – сказал ага.

Хозяин отведал и с удовольствием сказал:

– Да, точно, в этом вине больше крепости. Ей-ей, не знаю, отчего это. Попробуй, Харрис.

Я взял кружку и, подержав ее некоторое время у губ, не пропустив ни одной капли в горло, сказал:

– Точно, в нем гораздо больше крепости.

Ага попробовал еще из нескольких бочек, надеясь найти в них ту же крепость, и отобрать еще две или три для своей высокой особы, но, не найдя ни одной достойной этой чести, велел невольникам тащить домой бочку, в которой купался эфиоп.

– Постой, лживая собака! – вскричал паша. – Ты совершенно уверен, что это вино было гораздо крепче и вкуснее прочих?

– К чему обманывать мне Ваше Благополучие? Разве я не червяк, которого можете вы раздавить, если это вам вздумается? Я уже имел честь доложить, что не пробовал этого вина.

Лишь только ага оставил наш погреб, хозяин мой стал ломать себе голову, отчего бы это вино получило такую крепость, и очень сожалел, что не мог открыть причины, потому что бочку уже утащили.

Я говорил после об этом с одним англичанином; он нисколько не удивлялся тому и говорил, что у них нарочно кладут куски сырого мяса в некоторые вина, чтобы придать им больше вкуса и крепости.

– Аллах кебур! – воскликнул паша. – Это совершенная правда; я слышал, что англичане просто жрут сырое мясо. Продолжай.

Ваше Благополучие не можете представить себе ужас и страх, которые овладели мною, когда невольники понесли бочку.

Я уже считал себя погибшим и, во что бы то ни стало, решился бежать из Смирны. Я вычислял время, когда ага выпьет всю бочку, и приступил к хозяину, говоря, что намерен оставить его, потому что один из родственников предлагал мне принять часть в его торговле. Хозяин, которому я был нужен, умолял меня остаться, но я был непреклонен. Наконец он предложил мне участвовать в его торговле, но и это на меня не подействовало. При всяком ударе в дверь мне казалось, что ага со своими янычарами идет разделываться со мной, и непременно решился бежать следующим утром. Вечером вошел в погреб хозяин с бумагой в руках.

– Харис, – сказал он, – ты, может быть, думаешь, что я давеча сделал тебе предложение для того только, чтобы удержать тебя и потом надуть. Напротив, вот бумага, в силу которой ты делаешься моим товарищем по торговле и получаешь третью часть всего барыша. На, прочитай, и ты увидишь, что она подписана самим кади.

Я прочитал бумагу и только хотел возвратить ее хозяину, как сильный удар в дверь поверг нас обоих в ужас. Толпа янычар, посланных агою, ввалилась в погреб с повелением тот же час представить нас пред светлые очи его. Я один знал причину этого и проклинал мою глупость, что медлил до сих пор бежать из Смирны. Вино так понравилось are, что он чаще прежнего стал прикладываться к бочке и скоро все из нее вытянул; сверх того, тело черного шайтана занимало почти третью часть бочки.

Все было кончено для меня. Хозяин мой, ничего не зная, спокойно последовал за солдатами; я же, напротив, трясся от страха.

Мы пришли. Ага осыпал бранью бедного моего жида.

– Подлейшая из собак! Мерзейший из жидов! – кричал он. – Ты думаешь надувать правоверных, продавая им половину бочки за целую, а чтобы придать ей более тяжести, кладешь в нее всякую дрянь. Признавайся, что положил ты в бочку?

Жид клялся, что ничего не знает; я, разумеется, тоже последовал его примеру.

– Ладно, – сказал ага, – мы увидим!

Тут велел он мне выломать дно бочки. Я был совершенно уверен, что через несколько минут отправлюсь к шайтану, однако же, гнев аги разразился над одним моим хозяином, и это придало мне немного бодрости. Но я знал, что мне не миновать беды, когда открою бочку, и труп эфиопа прольет свет на мои плутни и убийство.

Дрожащей рукой исполнил я приказание аги – дно было вынуто, и, к удивлению всех, труп вывалился из бочки. Черное тело эфиопа, пролежав в вине, совершенно побелело. Это меня несколько оживило.

– Святой Авраам! – воскликнул жид. – Что я вижу! Мертвое тело! Клянусь моей головой, я ничего не знал об этом! Не знаешь ли ты чего-нибудь, Харис?

Я клялся всем, чем только можно клясться, что ничего тут не понимаю. О, как сверкали глаза аги! Как глядел он на хозяина! Все присутствующие, казалось, готовы были растерзать на части бедного жида.

– Проклятый! – вскричал наконец ага. – Так вот какое вино ты продаешь поклонникам пророка!

– Святой Авраам! Я знаю об этом столько же, сколько и вы, ага. Но я с удовольствием готов переменить эту бочку.

– Так и должно, – прервал его ага, – невольники мои сейчас же принесут ее.

Через несколько минут другая бочка стояла перед нами.

– Целая бочка вина! Это разорение для бедного еврея! – заметил мой хозяин, надев шапку и намереваясь уйти.

– Погоди немного, – сказал ага, – я не хочу даром пить твоего вина.

– Я знал, что вы справедливейший из людей и не захотите обижать меня, – сказал обрадованный жид.

– А вот увидим! – отвечал ага и приказал выцедить половину вина из бочки, потом велел вынуть дно, и когда все было готово, по велению аги два янычара подхватили бедного жида, связали его и бросили в бочку. Ага велел мне заколотить ее. Со стесненным сердцем повиновался я этому приказанию, потому чтомне не за что было сердиться на моего хозяина, к тому же я знал, что он погибает за мое преступление. Но тут дело шло на жизнь или смерть, а теперь уже прошли те блаженные времена, когда люди жертвовали собой для спасения другого. Притом же бумага, по которой я сделался товарищем моего хозяина, была у меня в кармане, а так как у еврея не было наследников, то я должен был получить все его имение. К тому же…

– Убирайся ты к шайтану со своими умствованиями! – прервал его паша. – Ты заколотил бочку – ну, что же далее?.. Рассказывай!..

Так, Ваше Благополучие. Со стесненным сердцем исполнил я приказание аги, и более еще потому, что сам не знал, что ожидает меня.

Выколотив дно и набив обруч, стал я перед агой, сам не свой от страха.

– Говори, не знаешь ли ты чего об этом?

Зная, что хозяин мой умер и что теперь я нисколько не повредит его доброму имени, если я навру на него, я сказал, что совершенно ничего не знаю об этом, но что с год тому назад пропал у нас черный невольник, а так как хозяин не слишком заботился об отыскании его, то и подозреваю теперь, что он убил его и, желая скрыть, положил труп в бочку и поставил ее сзади всех. Я присовокупил:

– Когда Ваше Благополучие изволили назначить ту самую бочку, то во всех движениях еврея невольно выказывался какой-то страх, и через день, кажется, он намеревался бежать из Смирны.

– Проклятая собака! – сказал ага. – Теперь я нисколько не сомневаюсь, что он таким образом уходил не одну дюжину не только черных невольников, но и правоверных.

– Я тоже стал бояться и за себя, Ваше Благополучие, – присовокупил я. – Он, как казалось, назначил и меня в число своих жертв. Я хотел покинуть его, но он умолял меня остаться, и когда, дорожа жизнью, несмотря ни на что, я все-таки отказывался, то и достал бумагу, по которой сделался я его товарищем. Но, верно, не долго бы пользоваться мне этой выгодой.

– Это обстоятельство может тебя осчастливить, – сказал ага, – и если ты выполнишь некоторые условия, все имение проклятого жида – твое. Первое: эти две бочки с черным шайтаном и проклятым жидом ты должен поставить у себя в погребе для того, чтобы я мог всегда, если вздумаю, навестить тебя и при взгляде на них вспоминать о моем гневе и мщении. Второе условие: присылать мне самого лучшего вина во всякое время и без отговорок столько, сколько я назначу. Согласен ты на эти условия или хочешь выкупаться в вине, подобно твоему хозяину?

Разумеется, что я согласился с радостью. Никто не заботился о еврее, а если когда и спрашивали о нем, то я пожимал плечами, говоря, что не знаю, за что и куда янычар-ага засадил его, и что я теперь управляю делами до его освобождения. По желанию аги, бочки с жидом и эфиопом поставил я посреди погреба выше прочих, одну подле другой. Ага почти каждый день являлся ко мне и, глядя на бочку, в которой купался труп бедного моего хозяина, выпивал столько, что часто принужден был ночевать в погребе.

Да будет известно Вашему Благополучию, что я, как человек смышленый, умел извлекать пользу из бочек, в которых кисли хозяин и эфиоп. Я выпускал из них вино и разбавлял им другие бочки, а туда наливал свежего. Разумеется, ага не знал об этом. Продолжая таким образом разбавлять мои вина, отчего они улучшались, приобрел я столько покупателей, что в короткое время разбогател не на шутку.

Так протекли три года, и во все это время ага не переставал посещать меня почти по три раза в неделю и всякий раз преисправно нализывался. Глядя на него, и я мало-помалу пристрастился к запрещенному напитку, хотя прежде не брал в рот ни капли. Однажды ага получает от султана повеление выступить со своим отрядом в поход. Когда янычары выступали из города, ага не мог не проститься с моим погребком: он подъехал к дверям моим, слез с лошади и вошел выпить на прощанье последний стаканчик. Но вместо одного, в самое короткое время, осушил он более дюжины. Время летело, и мой ага, по обыкновению, насилу ворочал языком. Он хотел уже ехать, чтобы догнать своих янычар, но все еще не мог насмотреться на бочку с моим хозяином и наругаться досыта. Мы были с ним уже давно на самой короткой ноге, и я, деля его компанию, в этот день опьянел так, что не помнил себя и сказал аге: «Полно тебе ругать бедного еврея; по его милости я разбогател. На прощанье я открою тебе, что во всем моем погребе ты не найдешь ни одной бочки, в которой бы не пахло жидом или черным невольником! Вот отчего мое вино и лучше вин всех здешних виноторговцев».

– Как! – заревел ага, едва ворочая языком. – Ах ты мошенник! И ты смел… О, ты должен умереть… непременно… Святой пророк! Какое унижение для правоверного!.. Как я пойду теперь в рай!.. Напоить правоверного вином, в котором кис жид!.. Нет, собака! Ты умрешь, сей же час умрешь!..

Он хотел броситься на меня, но винные пары до того расходились в голове его, что он упал и никак не мог подняться на ноги. У меня же весь хмель выскочил из головы, и, зная, что ага, протрезвев, вспомнит обо всем и не преминет наградить меня, схватил я его и ввалил в пустую бочку, налил ее вином, заколотил дно и поставил ее в самом заду. Так отомстил я за смерть моего хозяина и отделался от ненасытного гостя, который выпивал у меня почти третью часть годового запаса.

– Как! – гневно воскликнул паша. – Ты утопил в вине правоверного, да еще агу янычар? Ты, подлейшая из собак! Сын шайтана! И ты смеешь еще хвастаться

этим?.. Мустафа! Позвать сюда палача!

– Но я имею слово, великодушнейший из пашей! – сказал грек, упав на колени. – Притом же ага был недостоин чести называться правоверным: он не исполнял заповедей пророка – да будет благословенно имя его! Истинный мусульманин, вот как Ваше Благополучие, не возьмет и капли вина в рот.

– Слушай, собака! Я обещался и простил его, когда узнал, что он убил невольника, но утопить агу янычар – это совсем другое! – сказал паша, обращаясь к Мустафе.

– Сама справедливость говорит устами Вашего Благополучия; этот гяур достоин наказания. Но раб ваш осмеливается напомнить, что, во-первых, Ваше Присутствие изволили клясться бородой пророка, что простите этому неверному, и…

– Устаффир Аллах! Наплевать на эту клятву! Вот если бы я поклялся правоверному, так это дело другое…

– Во-вторых, раб этот еще не кончил своей истории, которая, кажется, довольно занимательна.

– Баллах! Это совершенная правда! Он должен окончить свою историю.

Но грек и не думал приподниматься и до тех пор не хотел продолжать, пока паша снова не пообещает его помиловать. Его Благополучие, которому знать окончание этой истории было гораздо дороже, чем все аги на свете, принужден был снова поклясться исподницей пророка, чтобы принудить грека продолжать историю. Грек повиновался.

Поставив бочку на место, поспешил я на двор, где стояла лошадь аги, и его же саблей проколол бок бедного животного, отвязал ее и выпустил со двора на улицу, зная, что она по инстинкту прибежит домой. Стук копыт разбудил слуг аги, и они, видя, что лошадь ранена и без седока, решили, что разбойники убили их господина, когда он отстал от войска. На другой день я отнес саблю и сказал, что ага пробыл у меня почти до ночи, немножко подвыпил и, несмотря на мои просьбы пробыть у меня до утра, поскакал догонять янычар и позабыл саблю. Теперь домашние аги были совершенно уверены, что он погиб от рук злодеев.

Так избавился я от пьяницы аги, и хотя он при» чинил мне много убытку своими частыми посещениями, зато теперь все вознаградилось с избытком: у меня прибавилась еще одна бочка, из которой мог я улучшать вино. Погребок мой еще более прославился.

Однажды с заднего крыльца ко мне вошел кади: он так много хорошего слышал о моих винах, что непременно сам хотел удостовериться в этом. Я был очень рад этой чести, тем более, что давно уже желал познакомиться с ним покороче. Поклонившись чуть ли не до земли, подал я ему стакан лучшего вина и сказал:

– Это вино называл я до сих пор вином аги, потому что покойный ага очень любил его и покупал по целым бочкам.

– Славная выдумка! – отвечал кади. – Это гораздо лучше и выгоднее, чем посылать невольника с кружкой каждый день. Я тоже выберу у тебя бочку получше.

Тут он перепробовал почти из всех бочек, как вдруг глаза его остановились на бочках, в которых кисли жид, эфиоп и ага.

– А каково вино вот из этих бочек? – спросил он»

– Это пустые бочки, – сказал я.

Кади ударил по бочкам палкой и воскликнул:

– Грек! Ты меня обманываешь, говоря, что эти бочки пустые. Я знаю, что у тебя в них лучшее вино, дай-ка мне из них попробовать!

Нечего было делать – я налил. Кади попробовал, похвалил и сказал, что возьмет все три бочки. Я сказал ему, что это вино употребляю для того, чтобы разбавлять им другие бочки, придавать вину больше вкусу и крепости, и что по этой причине оно вчетверо дороже прочих.

– Все равно! – сказал кади. – Правда, тут надо много денег, но ведь даром нельзя же достать хорошего вина.

Я утверждал, что ни под каким видом не могу продать этих бочек, потому что от них зависит вся слава, какой я до сих пор пользовался. Но он ничего не слушал, велел рабам своим поставить бочки на носилки и нести домой и не хотел до тех пор выйти из погреба, покуда не вынесут их. Я лишился моего эфиопа, моего жида, моего аги!

В совершенной уверенности, что тайна моя теперь скоро откроется, решился я на другой же день оставить Смирну. Я получил деньги от кади и, еще надеясь как-нибудь возвратить эти проклятые бочки, открыл ему, что намерен прекратить торговлю, потому что, лишившись моего сокровища, не надеялся уже иметь столько покупателей, сколько было их прежде. Я просил его возвратить мне эти бочки и предлагал за них три другие совершенно без всякой платы, но и это не помогало. Я нанял судно, нагрузил его остальным вином, взял все свои деньги и поспешил убраться в Корфу, прежде чем кади откроет мои плутни. Но сильная буря, свирепствовавшая в продолжение четырнадцати дней, принудила нас возвратиться опять в Смирну. Погода немножко приутихла, и я велел капитану корабля бросить якорь подальше от города, чтобы затем поскорее выбраться в море. Не прошло и пяти минут после того, как мы остановились, как заметил я лодку, которая отчаливала от берега; в ней сидели – сади и его прислужники.

В совершенной уверенности, что плутни мои открыты и что кади пронюхал, что я бежал на этом корабле, не знал я, что мне делать, как вдруг благая мысль мелькнула в моей голове: я так же хорошо могу спрятаться в бочке, как прятал прежде туда других.

Я позвал капитана и объявил ему, что кади едет к нам на корабль схватить меня, и просил не выдавать меня, обещая за то половину груза.

Капитан, который, к моему несчастью, был тоже грек, согласился. Мы пошли в трюм; я выпустил вино из одной бочки, вынул дно и влез в нее; дно опять вколотили. Через минуту взошел на корабль кади и спрашивал обо мне. Капитан сказал, что при сильном порыве ветра я упал через борт и что, не зная, к кому должно адресовать вино в Корфу, он возвратился в Смирну.

– Так проклятый избежал моего мщения! – воскликнул кади. – Мошенник! Я бы показал ему, каково убивать людей и поить правоверных вином, в котором кисли тела их! Но ты, кажется, надуваешь меня, грек? Покажи-ка мне корабль твой!

Люди, сопровождавшие кади, обшарили все углы, все щели на корабле, но все было напрасно. Кади наконец поверил капитану и, сходя с корабля, сулил мне тысячу наказаний и не одну сотню проклятий.

Я стал дышать свободнее и ожидал своего освобождения из бочки. Но не тут-то было: грек обманул меня. Лишь только наступила ночь, он снялся с якоря, и из разговора его с двумя матросами я узнал намерение капитана: он хотел бросить меня через борт и завладеть всем моим имуществом. Я кричал, просил, умолял матросов сжалиться надо мной, но все было напрасно. Один из них еще сказал: «Как ты убивал людей и прятал их в бочки, так теперь поступят и с тобой».

Теперь все было кончено для меня, праведный суд свершился. Единственное мое желание было скорее полететь через борт; мучительное ожидание казалось мне хуже самой смерти. Но судьба хотела иначе. Поднялась сильная буря; капитан и матросы бегали как угорелые и, казалось, совсем забыли обо мне.

Три дня сидел я в бочке и с часу на час ожидал, когда отправят меня ловить морских раков. На третий день услыхал я шум на палубе: матросы кричали, что корабль непременно погибнет, если будут держать на нем такого мерзавца, как я. Вдруг открыли люки, подняли бочку со мной, и я почувствовал, что лечу в море. В бочке не было втулки, и я заткнул отверстие платком, чтобы она не могла наполниться водой. Когда бочка поворачивалась отверстием вверх, я вынимал платок и таким образом впускал в нее свежего воздуха. Волны так бросали мою бочку во все стороны, и меня так укачало, что от боли и усталости я почти сошел с ума. Я хотел уже вынуть платок из отверстия и, напустив воды, таким образом лишить себя жизни, как сильный удар о скалу перебросил меня на другую сторону. Бочка моя ударилась еще три раза, и потом я почувствовал, что ее выбросило на берег. Мне послышались голоса: несколько человек приблизились ко мне и покатили бочку. Я не говорил ни слова, боясь, чтобы они не испугались и не оставили меня на берегу, откуда волны, снова могли умчать меня. Но когда они остановились, я приставил рот к самому отверстию и слабым голосом просил их сжалиться над несчастным» и выпустить его на белый свет.

Сначала они удивились, но я повторил мою просьбу и рассказал им, что капитан корабля, который, по моему мнению, находился недалеко от берега, желая завладеть моим грузом, посадил меня в бочку и перекинул через борт. Это, казалось, убедило моих избавителей, и через минуту я был свободен.

Первое, что представилось глазам моим, был весь груз корабля, на котором я плыл: весь берег был усеян моими бочками. Быстрый переход из темноты на свет и неожиданное освобождение так на меня подействовали, что я лишился чувств. Придя в себя, я увидел, что нахожусь в пещере, где лежу на сложенном плате. Посреди пещеры был разложен огонь, вокруг которого сидело человек сорок мужчин, которые с удивительным проворством опорожняли мои бочки одну за другой.

Заметив, что я очнулся, мне поднесли вина, оно подкрепило мои силы. Потом один из сидевших, по-видимому, начальник, велел мне приблизиться к нему и сказал:

– Корабль твой разбила буря, и матросы, которых мы успели спасти, рассказали мне все твои плутни. Садись и рассказывай все, но если хоть что-нибудь утаишь, то смерть твоя неизбежна – я здесь кади. Если ты желаешь знать, где ты и кому обязан своим спасением, изволь, ты все узнаешь. Ты на острове Урии, а мы – честные люди, которых вы называете морскими разбойниками. Теперь говори всю правду.

Я подумал, что морские разбойники будут ко мне снисходительнее, а потому и рассказал им все точно так же, как имею честь рассказывать теперь Вашему Благополучию. Когда я кончил, капитан пиратов сказал:

– Хорошо! Ты говоришь, что убил невольника, был участником в умерщвлении жида и утопил в вине агу; за это, без сомнения, ты достоин смерти. Но за твое чудесное вино и за тайну, которую ты открыл нам, как улучшать его, я смягчу наказание. Нечего таить, что твой капитан и матросы тоже подгадили: они изменили тебе и ограбили посреди моря – это ужаснейшее преступление, и за то они должны бы были умереть непременно, но без них я не пил бы твоего вина, поэтому должно и к ним быть немного снисходительным: я только осуждаю вас на тяжкую работу. Мы продадим вас в Каире, а вырученные деньги возьмем себе, и вино твое выпьем за твое же здоровье.

Все разбойники были в восторге от этого суда: он был для них очень выгоден. Все наши просьбы остались тщетными; лишь только погода приутихла, нас посадили в небольшую шебеку, отвезли в Каир, где и продали.

Вот история моя, Ваше Благополучие. Она, верно, объяснила вам слова, которые сказал я вчера. Теперь, надеюсь, вы согласитесь, что моя жизнь преисполнена несчастьями, более чем я заслуживал этого, потому что, убивая других, сам был в мучительном ожидании собственной смерти.

– Твоя история недурна, – сказал паша. – Но все-таки, если бы я не дал тебе обещания, голове твоей не уцелеть бы на плечах. Ужасно подумать, что неверный грек осмелился убить агу янычар, поклонника пророка – да будет благословенно имя его! Но я обещал простить тебя, ты можешь идти.

– Мудрость Вашего Благополучия блестит ярче звезд небесных! – сказал Мустафа. – Не осчастливить ли этого подлого раба вашей наградой?

– Машаллах! Наградой! Да разве я не довольно наградил его, оставив ему жизнь, которую он осмеливается считать гораздо дороже жизни аги? Утопить агу! – продолжал паша, вставая с места. – Это неслыханное преступление! А история, право, очень недурна. Мустафа, вели записать ее.

## Глава III

– Мустафа! – сказал паша на следующий день по окончании заседания. – На сегодняшний день, кажется, есть у нас в запасе другой гяур?

– Басхем устун! Отвечаю за то головой, Ваше Благополучие. Собака ждет только вашего приказания, чтобы повергнуться к ногам вашим.

– Пусть войдет. Барек Аллах! Слава Богу! Не один Гарун-аль-Рашид мог отыскивать для себя истории.

Невольника ввели. То был смуглый мужчина с прекрасными чертами лица. Во всех его движениях видна была какая-то гордость, которую не могло подавить и его настоящее положение, она выказывалась из-под лохмотьев, которыми было прикрыто его тело. Приблизившись к ковру, на котором сидел паша, он поклонился и молча сложил на груди руки.

– Я желаю знать, почему вчера вечером, ссорясь с греческим рабом, ты утверждал, что знаешь толк в вине так же хорошо, как и тот?

– Потому что в жизни я столько перепил его, что не мудрено, если теперь знаю в нем вкус более, чем кто-либо другой.

– Он говорит, Мустафа, что-то о своей жизни.

– Она полна разнообразия, – продолжал невольник, – и, если угодно Вашему Благополучию, я расскажу историю моих похождений.

– Хорошо, я снисхожу к твоей просьбе, садись и начинай!

## История монаха

Я испанец и родился в Севилье, но был ли отец мой грандом, или простым поселянином – не знаю, я не видал его. Помню только, что когда я стал понимать, увидел себя в заведении, основанном для тех несчастных созданий, которые вырастают на черном хлебе и воде потому только, что их родители, которые произвели их незаконным образом на свет, боясь срама, в жертву собственной чести приносят любовь родительскую.

Когда такие дети достигают известного возраста, их учат различным ремеслам, и лучших по способностям часто берут в церковную службу.

Одаренный от природы прекрасным голосом и верным слухом, был я принят певчим в один знаменитый доминиканский монастырь. Десяти лет от роду отдан был я на обучение к учителю пения. Под его присмотром я постоянно занимался изучением пения, иногда исправлял незначительные церковные службы: разжигал кадило, носил большие восковые свечи. Все дивились моему голосу, и часто, по окончании литургии, дамы дарили меня разными лакомствами, которые нарочно приносили с собой для маленького Ансельмо. Я делал в музыке значительные успехи и в двадцать лет пел прекрасным тенором. В свободное время давал я уроки музыки и пения и часть получаемых за то денег жертвовал в пользу монастыря. Мое имя стало известным во всей Севилье, и сотни любопытных стекались послушать Ансельмо. По этой причине меня берегли как сокровище: монастырь много бы потерял, если бы я его оставил. Мне давали

полную волю, глядели на мои поступки сквозь пальцы. Деньги, которые оставлял я себе, помогли мне подружиться с привратником, и я мог выходить из монастыря и входить в него во всякое время.

Мои седильи и канцонетты удивляли всех, а потому ни одной серенады не обходилось без тенора Ансельмо. Такое занятие давало мне средства разнообразить жизнь свою различными удовольствиями, большая часть которых изгнана из монастырских стен. Скоро стал я вести самую беспорядочную, распутную жизнь, часто проводил ночи с молодыми гуляками, пил и пел для их удовольствия любовные песни. Однако мое поведение не было известно в монастыре, пли если и знали о нем, то молчали по причинам, которые уже известны Вашему Благополучию.

Я был очень хорош собой, но орденское платье скрывало прекрасное сложение моего тела, которым без этого я обратил бы на себя внимание каждого. Вскоре заметил я, что прекрасный пол, хотя и восхищался моим голосом, оставался совершенно хладнокровен к моей личности. Женщины, казалось, думали, что я во всех других отношениях умер для света, что было отчасти и справедливо, потому что в скором времени я должен был постричься.

В Севилье знал я одну молодую даму, донну Софию, которую я учил некоторое время музыке. Она очень хорошо играла, а я всегда замечал, что между любителями музыки есть какая-то симпатия, род какого-то влечения, которое сближает, сродняет их, заставляет полюбить друг друга, и это влечение так сильно, что если бы я был женат, и жена моя особенно любила музыку, то всячески старался бы отдалять ее от мужчин с подобной же склонностью, если бы сам не имел ее.

Эта дама была чрезвычайно расположена ко мне, и я питал себя самыми лестными надеждами. Но вот однажды во время дуэта вошел к нам стройный молодой офицер. Прекрасные каштановые волосы вились, а туго стянутый мундир выказывал его прекрасную талию. Он был ее двоюродным братом и только что воротился из Картахены. Он прилежно ухаживал за кузиной, и я скоро увидел, что все мои усилия овладеть ее сердцем оставались бесполезными и что с каждым у гром меня принимали холоднее и холоднее.

Огорченный этим, стал я всячески чернить его в глазах донны Софии в надежде этим снискал себе ее прежнее расположение. Но я жестоко обманулся: она не только отказала мне от дома, но, как я узнал после, еще открыла ему причину,

по которой я не давал ей более уроков.

Раздосадованный, взбешенный, лишь только возвратился я в монастырь, как меня позвали к настоятелю. Он сказал мне, что мое распутное поведение дошло до ушей его, и, порядочно намылив мне голову, в заключение наложил на меня тяжелую эпитимию. Я знал, что ослушание навлечет на меня еще большее наказание, а потому, поклонившись с наружным смирением и злостью в груди, воротился в келью, решившись в тот же час писать в Мадрид о переводе меня. Несколько минут спустя привратник вручил мне записку. Она была от донны Софии. Она писала, что желает вечером видеться со мной, чтобы оправдаться в своем оскорбительном поступке, к которому она принуждена была прибегнуть из осторожности, потому что она думала, что мать ее, которая находилась в это время в соседней комнате, слышала наш разговор.

Вне себя от восхищения, тот же час я поспешил на свидание. Я должен был войти через заднюю дверь, которая выходила в поле, и дать знать о своем приходе тремя ударами. Лишь только поднял я руку для сигнала, как был схвачен и связан четырьмя масками. Они раздели меня и стали сечь крапивой; боль была нестерпима. Утолив свою месть, они развязали меня и удалились. Я обязан был этим гостинцем, как узнал после, молодому офицеру и его возлюбленной. Дрожа от боли и бешенства, я оделся, как мог, и отправился в монастырь, обдумывая, что мне делать. Положение мое не могло остаться скрытым в монастыре, и я был уверен, что, кроме стыда, оно навлечет на меня еще строжайшее наказание. Наконец, решил я, что нет худа без добра, связал порядочный веник крапивы, которая во множестве росла около стен монастырских, и поплелся в келью. Там снял с себя платье и начал с ожесточением стегать крапивой кровать и стены.

Спустя некоторое время я стал ужасно стонать и стонал до тех пор, пока монахи, желая узнать тому причину, не пришли в мою келью и не увидели, как ужасно исстегал я свое тело. Когда они вошли, я бросился на кровать и стал кричать еще громче. И скажу Вашему Благополучию, что этот крик был непритворен, потому что боль была нестерпима. На их вопросы я отвечал, что сделал большой проступок, что настоятель дал мне строгий выговор и наложил на меня эпитимию и что я сам выстегал себя крапивой. В заключение я просил их принять на себя труд продолжать надо мною начатое, потому что силы мои уже истощились. Они были слишком человеколюбивы, чтобы согласиться на это предложение. Некоторые из них отправились за лекарем, другие доложили настоятелю о случившемся. Первый скоро утишил боль, а последний был так

обрадован моим мнимым раскаянием, что дал мне отпущение грехов и разрешил меня от эпитимии. Когда я выздоровел, то попал еще в большую прежнего милость, и мне дана была прежняя свобода. Во время болезни случившееся не выходило у меня из головы. Я проклинал вероломную девчонку и клялся отомстить ей, сравнивал свои личные достоинства с достоинствами молодого офицера, и самолюбие говорило мне, что, если бы не одежда, выигрыш был бы на моей стороне.

Кошелек мой, как я уже говорил, был туго набит. Когда я встал с постели, я пошел к парикмахеру и, под предлогом постоянной головной боли, заказал ему тонзуру, которая через несколько дней была готова; голова выбрита, накладка надета, и она была сделана так хорошо, что почти невозможно было отличить ее от моих волос. До сих пор все шло как нельзя лучше, но так как в подобных делах необходима величайшая осторожность, чтобы не дать повода и тени подозрения, то и вернулся я в монастырь, где пробыл спокойно несколько дней. В один вечер я опять вышел, и когда совсем стемнело, отправился в ветошную лавку одного жида, где и купил кавалерское платье, которое, по-видимому, было мне впору. Я спрятал его в своей келье и на следующее утро пошел отыскивать в отдаленной части города квартиру. Это было не так-то легко. Наконец удалось мне отыскать комнату, дверь ее выходила на лестницу. Я заплатил за месяц вперед, сказал, что эту комнату нанимаю для брата, которого жду с часу на час. Ключ взял себе. Я купил небольшой сундук, который поставил в комнате. В него-то и спрятал свой костюм, который принес из монастыря. После чего опять некоторое время провел я тихо как для отвращения подозрений, так и для того, чтобы еще более уверить настоятеля в моем мнимом исправлении.

Спустя несколько дней я снова вышел и послал к одному из искуснейших парикмахеров Севильи записку, в которой приглашал его к себе на квартиру. Сам: же, чтобы принять его, отправился туда, снял с себя монастырскую одежду и фальшивую тонзуру, спрятал их в сундук, положил свое кавалерское платье на стул и, обвязав голову шелковым платком, лег в постель. В назначенное время парикмахер постучался в дверь. Я кликнул его в комнату, сказав, что слуга мой вышел, что я по случаю сильной горячки принужден был выбрить себе голову, но что теперь уже выздоровел и потому прошу его сделать мне хороший парик. Я велел сделать парик из волос гораздо светлее своих собственных, сходных с волосами молодого офицера, локоны которого навлекли на меня столько неприятностей. Я дал ему часть денег вперед и, назначив время, к которому парик должен быть готов, отпустил его. Потом я переоделся и пошел в монастырь.

Во все это время я тщательно копил деньги, которые до сих пор так же скоро проматывались, как и приобретались. Скоро скопил я значительную сумму. Две недели вел я жизнь самую осмотрительную. К концу второй с трепетным сердцем поспешил я в свою новую квартиру, сбросил с себя несносное платье и тонзуру и нарядился в новый костюм.

Я не узнавал себя. Я едва верил, что этот статный, красивый кавалер, который стоял передо мною в зеркале, был Ансельмо. «И это лицо столько времени искажала уродливая тонзура, этот гибкий стан скрывался под неуклюжей одеждой!» – восклицал я вне себя от восторга. И я глядел на себя снова и не мог наглядеться, надивиться своему превращению. Наконец я решился: замкнул свое орденское платье и спустился по лестнице. С трепетом вышел я на улицу, но скоро успокоился, потому что мимо меня прошел один из моих коротких знакомых, взглянул мне прямо в лицо и пошел далее, не показав ни малейшего вида, что узнал меня. Ободренный удачей, я смело пошел в Прадо, где был встречен ласковыми взглядами женщин и насмешками мужчин, которые видели во мне опасного соперника. К вечеру воротился я на квартиру, надел орденское платье и пошел в монастырь. Теперь я знал, что мне нечего опасаться быть узнанным, и уже мысленно упивался наслаждениями, которых до сих пор был лишен. Я достал себе модные дорогие платья, нанял свою квартиру на шесть месяцев, назвался доном Педро и завел знакомство со многими молодыми людьми, между прочим и с офицером, который так гадко поступил со мной. Он был очень расположен ко мне; со своей стороны, для удобнейшего исполнения своих замыслов, старался я всячески способствовать усилению нашей дружбы. Он удостоил меня своей доверенности, открыл мне свои связи с кузиной и прибавил, что она уже наскучила ему и что он ищет удобного случая прекратить все сношения с нею, также рассказал он мне забавную шутку с певчим Ансельмо.

Он очень искусно владел шпагой, и я извинял себя в неумении тем, что до смерти старшего брата я был назначен для церкви. Он советовал мне учиться фехтованию и первые начала показал мне сам. После обратился я к хорошему учителю и в несколько месяцев превзошел в искусстве моего друга. Теперь мог я приступить к исполнению своих планов.

Однако Ваше Благополучие не должны думать, что я при настоящем моем поведении пренебрегал всем, что бы могло открыть меня. Напротив, теперь, будучи в состоянии доставить себе все возможные удовольствия, я был осторожен еще более чем когда-либо. Из семи дней недели четыре посвящал я монастырю и урокам музыки. Чтобы сделать изобличение еще затруднительнее,

в своей монастырской жизни был я еще смиреннее, чем прежде. Настоятель, нисколько не подозревавший меня, с каждым днем оказывал мне более и более благосклонности. На мое отсутствие в продолжение для не обращали внимания, потому что знали, что я даю уроки музыки, а что делал я ночью, знали лишь я да привратник.

Разумеется, я в лице дона Педро утверждал, что вовсе не имею голоса и даже однажды в присутствии товарищей написал записку к Ансельмо, в которой просил его пропеть серенаду одной даме, за которой я волочился. Никому не приходило в голову, что дон Педро и Ансельмо – одно и то же лицо.

Но далее. Однажды молодой офицер, которого звали дон Лопес, сказал мне, что он не знает, как отвязаться от своей возлюбленной, ревность и упреки которой не давали ему покоя. Он просил у меня совета. Я смеялся над его несчастьем.

– Любезный Лопес, – сказал я ему, – познакомьте меня с нею и положитесь в том на меня, что она не будет больше беспокоить вас. Я прикинусь в нее влюбленным, и она, радуясь новой победе, скоро забудет своего прежнего воздыхателя.

– Прекрасно, бесподобно! – воскликнул он в восторге. – Если угодно, сегодня же представлю вас этой несносной донне Софии.

Так сблизился я с той, которую некогда любил, хотя теперь при виде ее не чувствовал уже ничего, кроме жажды мести. Донна София приняла своего прежнего музыкального учителя. Она ясно видела, что уже лишилась дона Лопеса, и потому мои старания понравиться ей скоро очаровали ее и расположили в мою пользу. Но в порывах негодования на изменника, иногда еще проглядывала ее любовь к нему. Однажды, когда она употребила все, чтобы привлечь его снова к себе, стал он упрекать ее в вероломстве, следствием чего был совершенный разрыв. Взбешенная, она требовала от меня, как доказательства любви, мести за нее, а так как я прикинулся самым страстным любовником, то и воспользовался удобным случаем исполнить давно желанное. При первой встрече с доном Лопесом я назвал его лгуном и потребовал от него удовлетворения. Так как это случилось при других, то не к месту были объяснения. Мы условились в известное время явиться одни, без свидетелей, в назначенное мною место. Я взял с собой орденское платье и тонзуру, которые и спрятал в крапиве. Битва была недолгой. Не прошло и двух минут, а он уже катался по земле в предсмертных конвульсиях. Я поспешно накинул на себя

орденское платье, сменил парик тонзурой и в этом виде встал против него. Он открыл глаза и с изумлением устремил их на меня.

– Да, дон Лопес, – сказал я, – вы видите в доне Педро Ансельмо, того самого Ансельмо, которого вы стегали крапивой и который теперь отомстил вам за оскорбление. – Я сбросил орденскую одежду, сменил тонзуру париком и прибавил: – Теперь вы уверены, и мщение мое кончено.

Судорожная дрожь исказила лицо его, он закрыл глаза навеки. Я поспешил на квартиру, переоделся и пошел в монастырь, откуда написал к донне Софии от имени дона Педро письмо, в котором сообщил ей о случившемся и уведомил ее, что скрылся во избежание поисков. Три недели пробыл я в монастыре или выходил из него в монастырском платье.

По прошествии этого времени я известил донну Софию о своем возвращении, а также и о надежде увидеть ее вечером. Я отправился на квартиру, преобразился в дона Педро, постучал в дверь, и меня впустили. Но я обманулся в ожиданиях: вместо нежности, с которой надеялся быть принятым, она встретила меня градом упреков и объявила, что с этих пор я ей ненавистен. Хотя, в порыве гнева, она и требовала от меня мщения, но теперь, когда уже не было ее возлюбленного на свете, она, забыв его вероломство, запылала к нему прежней страстью.

Видя себя обманутым, я вышел из комнаты в мыслях удалиться. Но она не довольствовалась одними упреками: по ее знаку на меня напали двое из ее родственников с обнаженными шпагами. Мне оставалось одно средство к спасению: прорубиться сквозь них. Я бросился на них, нанес одному опасную рану и обезоружил другого в то самое время, когда разгневанная красавица, видя, что победа на моей стороне, кинулась на меня сзади, чтобы удержать мою руку. Но она опоздала, я отбросил ее на раненого и, выбежав из дома, поспешил на квартиру, переоделся и отправился в монастырь.

Это происшествие сделало меня осторожнее. В продолжение нескольких месяцев я нигде не появлялся под видом дона Педро, боясь попасть в руки правосудия. Я стал строже исполнять свои обязанности и вести жизнь более скромную. Вскоре узнал я, что донна София, безутешная от смерти своего возлюбленного, ушла в женский монастырь, где вскоре и была пострижена.

Теперь я был совершенно вне опасности, потому что единственный свидетель нашего поединка был уже не в состоянии вредить мне. Я начал снова свои переодевания, разумеется, когда в том была надобность, потому что в обществе, которое более всего привлекало меня и в котором, как уже известно Вашему Благополучию, приобрел я редкую способность узнавать доброту вина и являлся всегда в своем орденском платье, потому что тут угощение не стоило мне ничего, между тем как под видом дона Педро должен бы был тратить деньги, как и другие. К переодеванию прибегал я только тогда, когда желал понравиться какой-нибудь прекрасной особе. Все мои проделки сходили с рук как нельзя лучше, но, к сожалению, – ничто не вечно под луной! – пришла пора, когда мои проказы вышли наружу, и я сделался рабом во владениях Вашего Благополучия.

С некоторого времени стал я учить музыке племянницу одной пожилой дамы, которая была знатной фамилии и к тому же очень богата. Тетка всегда присутствовала при уроках, а так как я знал, что она была очень набожна, то и не позволял себе каких-либо вольностей, и песни, которым я учил девушку, были совершенно невинны. Мое поведение было постоянно самое монастырское.

Сначала не имел я никаких видов на племянницу, хотя она была прекрасна; все мое внимание было обращено на кошелек тетки, которой, по моим расчетам, оставалось уже недолго жить. Я даже всячески старался удалять от нее племянницу, потому что слышал, что после смерти своей она хотела отказать все свое богатство ей. Впрочем, это требовало времени и благоприятных обстоятельств. Я прибегал ко всем возможным средствам, чтобы снискать расположение старухи. Часэ, беседуя с ней о суете мира сего, я удивлял ее своим притворным благочестием, и со дня на день более и более она привязывалась к смиренному Ансельмо. Я вкрался в ее доверие, старался узнать образ ее мыслей, чтобы удобнее действовать.

Однажды, растроганная мною до глубины души, высказала мне тайну своего сердца: эта тайна упивала ее, не давала ей покоя ни днем, ни ночью; она относилась к летам ее молодости. Она имела, против воли родителей, любовные связи с одним молодым кавалером; он клялся обвенчаться с нею, и она впускала его в свою спальню. Их связь продолжалась до тех пор, пока их не выследили. Родственники в порыве гнева умертвили ее возлюбленного, а ее саму заключили в монастырь. Там она родила сына, которого тот же час от нее удалили. Несмотря на все убеждения и угрозы родственников, чтобы она постриглась, она воспротивилась им; наконец после смерти отца ее освободили, и она вступила во

владение имением, которого родственники не могли отнять у нее. Она старалась разведать о своем сыне и наконец узнала, что он был отдан в воспитательный дом, но более не могла узнать ничего. Она не была замужем, но образ Феликса – хотя тому прошло уже много лет – не выходил из ее памяти, их тайные свидания часто сменяли в уме ее молитвы; она считала это за большой грех и, между тем, все-таки не могла забыть того, который впервые заставил ее сердце биться любовью.

Я слушал рассказ ее с живейшим участием; мне пришло в голову, что я сам мог быть несчастным плодом ее любви, а если и нет, то старуху легко заставить поверить этому. Я спросил ее, не было ли у ее сына каких-нибудь особенных примет, по которым бы можно было узнать его. Она отвечала, что расспрашивала об этом всех, бывших при его рождении, и что одна женщина сказала ей, что у ребенка на затылке была большая бородавка, которая, впрочем, вероятно, пропала, и что нет никакой надежды на отыскание его.

Я заметил ей, что бородавки, случайно появившиеся, легко пропадают, но что те, которые были при рождении, так же невыводимы, как и родимые пятна. После чего я дал разговору другой оборот, сказав между прочим, что поведение ее вовсе не кажется мне преступным; требовал забыть человека, с которым до сих пор жила, как с супругом, и который умирает за свою возлюбленную, значит требовать невозможного: это выше сил человеческих. Всю ночь не выходила у меня из головы эта старуха со своим сыном; год и месяц совершенно согласовались с теми, в которые я был принят в воспитательный дом. Бородавка действительно могла и пропасть. А что, если это был точно я? Тут нет ничего невозможного. На другое утро отправился я в воспитательный дом и справился о дне моего приема, а равно и обо всех обстоятельствах, которые на всякий случай подробно вписываются в книгу. Я нашел, что это было в феврале, и в том самом месяце, того числа и почти в тот же час, кроме меня, был принят еще один ребенок.

«В восемь часов вечера найден у дверей в корзинке мальчик; принесший неизвестен; знаков не имеется; имя – Ансельмо».

«В девять часов вечера найден у дверей мальчик, завернутый в плащ; принесший неизвестен; знаков из имеется; имя – Яков».

Следовательно, в продолжение одного и того же часа в воспитательный дом принесены были два ребенка, и я был один из них. Вечером пошел я снова к

старухе и свел разговор опять на то, что не узнала ли она еще чего о своем сыне, и спросил ее, хорошо ли знает она число.

Она отвечала, что очень хорошо помнит, что это было восемнадцатого февраля и что, когда она справлялась в воспитательном доме, ей сказали, что дети, принятые в этот день, не имели на себе никаких знаков, что они все усланы, но куда, того не знают, потому что бывший директор умер, а он один только и знал это. Что я или другой был сын ее – это ясно, но который из двух – доказать было невозможно. Однако я думал недолго и решился назвать себя ее сыном, если и не в глазах других и самого себя, то, по крайней мере, в глазах ее, и принял все нужные меры.

Я намеревался исполнить свой план в мирской одежда, а так как необходимо было иметь бородавку на затылке, то и предположил достать ее как можно скорее, что мне и удалось.

Один монах нашего монастыря изобиловал ими, и я в шутку предложил ему испытать, точно ли кровь бородавки прививает ее к кому угодно. Через две недели у меня была уже бородавка на пальце, которая быстра увеличивалась. Кровью из нее намазал я место на затылке. Через три месяца у меня была на нем уже большая бородавка. В продолжение этого времени я редко посещал старую даму, извиняясь недостатком времени. Теперь предстоял вопрос, каким образом в другом виде втереться в дом ее? Это требовало некоторого размышления, тем более что все-таки время от времени я должен был посещать ее. При некотором размышлении решился я воспользоваться для этого племянницей, потому что знал, что если мои планы не удадутся, то все-таки имение, которое желал я прибрать к своим рукам, она разделит со мной. Часто, когда мы были одни, я находил случай говорить ей об одном молодом человеке, которого превозносил до небес. Возбудив ее любопытство, я, смеясь, мимоходом заметил, что красота ее обворожила кавалера, потому что часто замечал его проходящего мимо ее окон. Девушке всегда приятно, если ей удивляются; самолюбие ее было польщено, и она стала выведывать от меня многие подробности. Я отвечал так, что еще больше возбуждал в ней любопытство; довольно подробно описал его физиономию и особенно похвалял хорошие качества молодого человека. Я даже описал с величайшей точностью костюм его. По окончании уроков я отправился на квартиру, надел лучшие платья и парик и стал ходить перед ее окном взад и вперед. Она тотчас узнала во мне молодого человека, о котором я говорил ей, выглянула в окошко и потом вдруг со свойственным всему женскому полу кокетством отскочила от окна. Я заметил, что победа льстила ее самолюбию, и,

побыв перед окном еще некоторое время, удалился.

На следующий день, явившись к ней на урок, я запасся на всякий случай любовным письмецом. Урок начался. Я скоро заметил, что ей хотелось петь песенку, которую в присутствии тетушки она, вероятно, отложила бы в сторону. «Добрый знак!» – подумал я. Лишь только явилась тетка, мы замолчали и начали другую. Посредством этой маленькой хитрости я попал в ее поверенные, а этого только и было нужно. После двух или трех песен донна Селия, тетка, вышла из комнаты. Тут я заметил маленькой ученице, что видел кавалера, о котором говорил в прошедший раз, и что он кажется влюбленным еще более, чем прежде, что он упрашивал меня замолвить о нем словечко, но что я решительно отказал ему и даже угрожал открыть все тетке. Я прибавил, чаю чувствую к нему сострадание, что слезы и просьбы его растрогают всякого, но что, несмотря на эту привязанность к нему, считаю вовсе неприличным моему званию и будущему назначению быть посредником в подобных делах. «Он сказал мне, – присовокупил я, – что вчера вечером проходил мимо дома в надежде сыскать случай через кого-нибудь из домашних слуг передать вам письмо, но я угрожал открыть все донне Селии, если он не перестанет говорить об этом». Донна Клара, казалось, была очень огорчена моей притворной строгостью, однако не сказала ни слова. Спустя некоторое время я спросил ее, видела ли она молодого человека. «Да», – отвечала она без дальних объяснений. На софе, на которой сидела донна Клара, стояла ее рабочая корзинка; я положил туда незаметно записку; урок кончился, и я пошел на половину тетки. Через полчаса я опять вышел в зал, в котором оставил донну Клару. Она сидела за рукодельем и при виде меня вся вспыхнула я догадался, что записка была прочитана. Сделав вид, будто ничего не замечаю, и едва скрывая свою радость, я раскланялся. В записке я умолял ее об ответе и сказал, что буду всю ночь под ее окном. Когда стемнело, я перерядился в дона Педро, отправился к ее жилищу и сделал несколько аккордов на гитаре, чтобы дать знать о себе. Через полчаса окно отворилось, и маленькая ручка бросила записку, которая упала прямо к моим ногам. Я поцеловал ее с восторгом и удалился. Дома я прочитал ее. Она была ко мне благосклоннее, чем я ожидал. Теперь решился я действовать как поверенный.

На другой день я сказал ей, что молодой кавалер своим благородным видом победил мою решимость и что я согласился быть его ходатаем; что положение его так жалко, что я не мог противиться его просьбам; что, впрочем, надеюсь, что без моего ведома не будет сделано ничего: только на этих условиях я возьму на себя, если он ей нравится, ходатайствовать за него у донны Селии. При этих словах глаза донны Клары заблистали радостью, и она откровенно призналась

мне, что наружность и характер его вовсе ей не противны. Тут вынул я второе письмо, которое, как сказал, он умолял меня вручить ей. Дело приняло прекрасный оборот. Я имел с нею несколько свиданий, и хотя прежде был совершенно равнодушен к донне Кларе, любовь выказала в ней столько милых качеств и так одушевила ее прекрасное личико, что я сам, не замечая как, полюбил ее со всей пылкостью первой любви. Однажды она заметила, что между доном Педро и мною большое сходство, но ей никогда не приходило в голову, что смиренный стриженый послушник и веселый кудрявоголовый кавалер были одно и то же лицо. Когда я увидел, что дело завязалось, то, после вступления, открыл донне Селии, что имею сообщить ей нечто важное, а именно, что я заметил склонность одного молодого кавалера к ее племяннице и почти уверен, что ему отвечают; что этот кавалер очень коротко знаком мне, что он очень любезен и обладает многими хорошими качествами, но что происхождение его, по-видимому, тайна, потому что он никогда не рассказывал мне о нем. Я заключил слова свои уверением, что почел долгом сказать ей обо всем, чтобы узнать, согласна ли она на его предложение, или имеет на племянницу другие виды, так как во всяком случае она должна немедленно поступить решительно.

Донна Селия была крайне изумлена моим открытием и не менее того сердита на племянницу, которая осмелилась без ее ведома заводить знакомства. Упреки, брань посыпались градом. Я дал ей полную волю наговориться досыта, и когда она немного успокоилась, с обычным смирением напомнил ей, что в молодости впала она в этот же проступок. Я сказал, что он, вовсе не зная, что я вхож в их дом, уверял меня, что намерения его чисты. Донна Селия казалась успокоенной и предлагала мне много вопросов. Тайна его рождения одна только удерживала ее от решительного согласия. Я обещал ей приложить все старания, чтобы разведать об этом, и мы согласились до тех пор не приступать ни к чему решительному. Я вышел от нее и при прощании с Кларой уведомил ее обо всем происшедшем и советовал ей не раздражать тетку, но с покорностью выслушать ее выговоры. Когда на следующий день я вошел к ним, она сидела подле своей тетки, которая, по-видимому, с ней совершенно примирилась. Я сделал ей знак, чтобы она вышла. Донна Селия сказала мне, что Клара созналась в вине, и так как она обещала вперед ничего не предпринимать, не посоветовавшись с теткой, то она и простила ее. Когда она закончила, я сказал: «Сеньора, приготовьтесь услышать удивительные вещи. Пути Божий неисповедимы. Вчера вечером говорил я с доном Педро, и, представьте, из слов его я узнал, что он – оплакиваемый вами пропавший сын».

– Праведный Боже! – воскликнула она и упала в обморок. Лишь только она пришла в себя, как воскликнула:

– Где он? Приведите его ко мне! Дайте мне взглянуть на него, потушить в его объятиях муки материнского сердца, лить радостные слезы на груди моего сына!

– Успокойтесь, сеньора! – сказал я. – Вы еще не удостоверились. Тогда только вы можете увлекаться движениями вашего сердца. Я просил дона Педро открыть мне тайну своего происхождения и объявил ему, что исполнение его желаний зависит единственно от безусловной откровенности. Он признался мне, что был принесен в воспитательный дом, но что не знает своих родителей и что тайна, а отсюда и порочность его рождения были для него постоянно источником печали.

Я спросил его, знает ли он, сколько ему лет, и имеет ли свидетельство о своем приеме? Он показал мне его. Оно было от восемнадцатого февраля того самого года, в котором ваше дитя было отнесено в заведение. Однако я не мог тут узнать еще ничего решительного и сказал, что сегодня поутру буду опять у него, чтобы посмотреть, что нам делать, и уверил, что откровенное признание возбудило во мне большое к нему участие. Сегодня поутру отправился я в воспитательный дом и справился по книгам. Я нашел там, что в ту ночь принесены были два ребенка. Вот и выписка. К сожалению, тут не говорится ни о каких особых приметах, и потому, если бы у него не оказалось бородавки, мы остались бы в том же неведении, в каком были и до сих пор. Когда я за час перед этим посетил его, завел прежний разговор и сказал, что, кажется, взято за правило отмечать в книгах особые приметы всех детей, чтобы можно было в случае надобности узнать их, он отвечал мне, что о таких знаках говорится только тогда, когда они неистребимы, и что таковых у него не было; хотя и есть у него на затылке бородавка, но он не знает, была ли она при его рождении. «Но, – продолжал он, – все это ни к чему не ведет, я уже давно потерял надежду сыскать когда-либо своих родителей и должен покориться своей несчастной судьбе. Я раздумал о своей связи и чувствую, что поступил безрассудно. Какое право имею я, безродный, без имени, просить руки девицы благородного происхождения? Я решился подавить чувства сердца; я хочу оставить Севилью и в уединении оплакивать свою печальную участь. Да, я должен ехать скорее, пока еще связи с донной Кларой не так тесны, чтобы их нельзя было расторгнуть, не причинив горя бедной девушке».

– И вы в состоянии принести эту жертву? – спросил я.

– Я поступаю только, как следует поступать благородному человеку, – отвечал он.

– Если так, – сказал я, – то прошу вас посетить меня сегодня вечером; я надеюсь сообщить вам нечто приятное. – И я оставил его, чтобы уведомить вас о своем открытии.

– Но зачем вы не привели его тотчас же ко мне? – воскликнула донна Селия.

– Сеньора! Я имею важные дела в монастыре, которые задержат меня до поздней ночи. Также думаю, что должен, по поручениям настоятеля, на некоторое время оставить монастырь. Я открою все молодому человеку и потом пришлю его сюда, но вам необходимо несколько успокоиться. Желал бы я быть при этом свидании, но в свете мы так редко можем делать то, чего желало бы сердце. – И я простился с нею, прося все открыть племяннице, и присовокупил, что теперь нет никаких преград к их соединению.

Я поспешил удалиться для того, чтобы иметь время придумать историю, которую, вероятно, должен буду рассказать своей новой маменьке. Также нужно мне было выхлопотать на некоторое время отпуск. Я получил его, сказав настоятелю, что получил письмо от одного престарелого господина, живущего в Аликанте, который желает сделать монастырю значительное пожертвование и хочет для того видеть меня. Настоятель разрешил мне ехать в Аликанте в тот же вечер, чтобы поспеть к назначенному времени. Я простился с настоятелем и монахами в надежде уже больше с ними не видеться, поспешил на квартиру и сбросил с себя навсегда орденское платье. После чего отправился я в дом донны Селии, где был отведен в комнату, в которой должен был ожидать ее. Я надел новый парик, богатую шелковую епанчу и шелковые чулки. Двери отворились, и донна Селия вошла, дрожа всем телом. Я бросился перед нею на колени и самым трогательным голосом умолял ее благословить своего сына. Изнемогая от избытка чувств, опустилась она на софу, и я, все еще стоя на коленях, схватил ее руку и осыпал поцелуями.

– Это он, это сын мой! – наконец воскликнула она. – Голос крови сказал бы мне это, если бы даже не было никаких доказательств!

И она обвила руки вокруг моей шеи, склонила голову на плечо мое и проливала слезы благодарности и восторга. Смею уверить Ваше Благополучие, что я

действительно был тронут, и слезы мои смешались с ее слезами; внутреннее чувство говорило мне – и я уверен в этом и поныне, – что я был ее сын, хотя после это благодетельное чувство и исчезло. Хотя совесть делала мне упреки, но все-таки я не мог удержаться, чтобы не сказать себе, что обман, который причинил столько радости и счастья, почти простителен. Я сел подле нее, она осыпала меня поцелуями, то отодвигала от себя, чтобы полюбоваться на меня, то прижимала снова к груди своей.

– Педро, ты живой портрет отца, – сказала она печальным голосом, – но да будет воля Божия. Он дал, Он и взял; я благодарна Ему за Его благость.

Когда мы несколько успокоились от сердечных движений, я просил ее рассказать историю моего отца, и она повторила повествование о своей связи, о которой уже говорила мне прежде.

– Но ты еще не представлен Кларе. Шалунья, верно, не воображала, что имеет любовную связь с двоюродным братцем.

Когда донна Селия позвала ее, я взял смелость обнять прелестную девушку и запечатлеть поцелуй на ее губках. Полные любви и восторга, сели мы на софу? я сидел в середине, и руки обеих лежали в руках моих.

– Теперь я хочу, дорогой Педро, – сказала донна Селия, – услышать историю твоей жизни. Что она была достойна моего сына, в том я уверена наперед.

Я поблагодарил ее за доброе мнение и выразил надежду, что ни прошедшие, ни будущие обстоятельства не переменят его, и начал историю своей жизни следующим образом.

– Историю твоей жизни? – прервал его паша. – Собака смеется нам в бороды, что ли? Что же ты рассказывал нам до сих пор?

– Правду, Ваше Благополучие, – отвечал испанец. – Теперь хочу рассказать историю своей жизни, которую выдумал я для того, чтобы провести донну Селию, но в которой нет ни одного слова справедливого.

– А, понимаю. Этот кафир настоящий кессегу[2 - Сказочник.], у него из одной истории является другая. Но уже поздно. Смотри же, Мустафа, завтра вечером мы слушаем его снова. Ступай, неверный; муэдзин зовет к молитве.

Испанец вышел, а паша с Мустафой, по призывному крику муэдзина, стали совершать свое вечернее поклонение – фляжке.

## Глава IV

На следующий день испанский раб был позван продолжать начатую историю.

– Ваше Благополучие, без сомнения, помните, на чем я остановился вчера вечером? – начал раб.

– О, очень! – отвечал паша. – Ты кончил началом своей истории. Однако же надеюсь, сегодня ты ее кончишь, потому что из рассказанного тобою я уже многое забыл.

– Ваше Благополучие, припомните, что на софе…

– Ты сидел, да и еще в нашем присутствии, – прервал паша, – так велика была наша снисходительность к неверному. Ну, продолжай же свою историю.

– Раб Вашего Благополучия осмеливается с нижайшей покорностью напомнить, что он сидел на софе между своей матерью, донной Селией, и его возлюбленной, донной Кларой.

– Да, да! Теперь я вспомнил.

– Я сжал в руках их руки.

– Точно, – сказал паша с нетерпением.

– И намеревался рассказать историю собственного своего изобретения, чтобы тем провести мою мать.

– Анна Сенна! Да падет проклятие на голову твоей матери! – воскликнул гневно паша. – Садись и продолжай свою историю! Или паша для тебя ничего не значит? И шакалу ли гневить льва? Уаллах эль неби! Клянусь Богом и его пророком, ты смеешься мне в бороду! Историю – говорю тебе!

– Требуемую Вашим Благополучием историю, – отвечал с робостью невольник, – начал я так.

## История испанского невольника

– О моем детстве, матушка, не могу сказать вам ничего достоверного, оно уже изгладилось из моей памяти. Помню только, что, когда мне было лет семь, я был в обществе детей; некоторым из них было только по нескольку дней, другие были равных со мной лет. Помню тоже, что кормили нас очень худо, а наказывали слишком строго.

– Бедное дитя! – воскликнула донна Селия, с состраданием сжимая мою руку, которая лежала в ее руках.

– Так прожил я до десятого года. Однажды к нампришла какая-то престарелая дама; я понравился ей – и не удивительно, потому что ребенком был я очень хорош собой, хотя, Клара, впоследствии много утратил из этой красоты. – В ответ было легкое пожатие другой моей руки и отрицательное киванье головкой. Я продолжал: – Донне Изабелле – так называлась эта дама, которая принадлежала к высокой фамилии Гусман – нужен был паж, и она решила воспитать меня для этого звания. Она взяла меня с собой и одела в прекрасное платье. Должность моя состояла в том, чтобы сидеть на ковре у ног ее и исполнять различные приказания. Сказать правду, я был нечто вроде живого колокольчика: должен был звать каждого, кого велено было позвать, и приносить все, в чем случалась надобность. Впрочем, меня содержали очень хорошо, и я был доволен своей судьбой.

Между прочим, учили меня читать и писать, и это только было мне не понутру. Учителем моим был один монах, который так же любил учить, как я – учиться, и

если бы дали нам полную волю, то, надеюсь, как он, так и я, остались бы как нельзя более довольны друг другом. Но так как моя госпожа непременно хотела видеть сама мои успехи и всякий раз во время вышивания заставляла меня читать, то делать было нечего, я должен был учиться. Брань и ласки наконец возымели свое действие: я был уже в состоянии прочитать для своей госпожи роман или написать ответ на приглашение.

У госпожи моей были две племянницы, которые жили у нее и были уже взрослыми, когда я пришел в дом. Собственно для своего удовольствия учили они меня танцевать и многому другому, так что, по милости их, вскоре получил я очень порядочное образование. Хотя я был еще ребенком, но все-таки мне приятно было иметь своими учительницами двух хорошеньких девиц.

При описании этих девиц позвольте мне несколько распространиться: это необходимо. Старшая, которую звали донной Эмилией, была рассудительна, скромна, редко весела и никогда не выходила из себя. Улыбка не слетала с ее лица, и, между тем, она почти никогда не смеялась. Меньшая, донна Тереза, имелахарактер совершенно противоположный характеру Эмилии: она была весела и довольна, откровенна, доверчива и чувствительна. Ее проступки были следствием чрезвычайной живости чувств – она впадала из одной крайности в другую.

И, между тем, они не чаяли друг в друге души. Казалось, что разность характеров еще усиливала их взаимную привязанность. Серьезность старшей при живости младшей не была так заметна; равно как и необдуманность младшей удерживалась рассудительностью старшей в должных границах. Мне, как ребенку, Эмилия нравилась, донну Терезу я обожал.

Три года прожил я в доме донны Изабеллы, когда дела побудили ее ехать в Мадрид. Племянницы ее, которые были прекрасны и очень похожи одна на другую, вскружили головы многим кавалерам. Двое из них одержали верх над прочими. Дону Пересу удалось снискать благосклонность Эмилии, а дон Флорес похитил сердце живой Терезы.

Однако донна Изабелла ни за что на свете не хотела расставаться со своими племянницами, а так как серенады, которые доходили до ушей ее каждую ночь, открыли, что кое-кто уже успел снискать благосклонность ее любимиц, то она и вернулась в Севилью еще раньше, чем предполагала.

Хотя никто из них не удостоил меня своего доверия, однако я смекнул, что тут что-нибудь да кроется. Я был умен не по летам и потому, несмотря на догадки, ничем не обнаруживал того ни перед моей госпожой, ни перед молодыми доннами.

Прошло уже четыре недели со дня приезда нашего в Севилью, как однажды донна Эмилия подозвала меня к себе и спросила:

– Педро, можешь ли ты хранить тайну?

– Конечно, – отвечал я, – если только мне за то заплатят.

– И что бы такое могло заставить тебя молчать, плутишка?

– От вас – один только поцелуй, – отвечал я.

Она засмеялась, погрозила мне пальчиком, потом поцеловала меня и сказала, что вслед за вечерним колоколом явится под окном мужчина, и я вручу ему записочку, которую дала она мне. В назначенный час выглянул я за дверь и увидел под окном одного кавалера. Я начал с ним говорить.

– Сеньор! – воскликнул я. – Чего ждете вы от одной хорошенькой особы?

– Записки, душечка! – отвечал он.

– Вот вам она, – сказал я, вынимая ее.

Он всунул мне в руку дублон и скрылся. Золото любил я, но другая плата была для меня еще приятнее. Я положил деньги в карман и вошел в дом. Лишь только успел я войти в приемную, как донна Тереза сказала мне:

– Педро! Я искала тебя. Можешь ли ты хранить тайну?

– Без сомнения, если мне за это заплатят, – отвечал я, как и в первый раз.

– И что может удержать твой язык от болтовни?

– От вас – поцелуй, – отвечал я.

– О, душка! Двадцать раз готова я поцеловать тебя.

И она на деле исполнила свое обещание, ее поцелуи чуть-чуть не задушили меня.

– Внизу дожидается один сеньор записки, которую ты и передашь ему.

Я взял записку, и когда вышел, увидел, в соответствии со словами донны Терезы, одного кавалера.

– Сеньор, – сказал я, – вы ждете письма от одной прекрасной дамы?

– Ты отгадал, дружок, – отвечал он.

Я вручил ему записку, он сжал ее в руке и хотел удалиться.

– Сеньор, – сказал я, – хотя благосклонность моей госпожи не может быть куплена ничем, но все-таки ваша связь не может обойтись без золота. Вам оно необходимо, а так как вы бедны, то вот вам один золотой. – И я протянул к нему руку с дублоном, который получил от другого кавалера.

– О, маленький хитрец, – сказал он, – ты мстишь мне за мою недогадливость. На, возьми!

И он всунул мне в руку четверть дублона и поспешно удалился. Я вернулся домой и отправился в комнату донны Изабеллы, которая сидела там одна.

– Педро, поди сюда! – сказала она. – Ты знаешь, как добра была я всегда к тебе и с каким старанием воспитала тебя. Скажи мне, можешь ли ты хранить тайну?

– Вашу тайну – без сомнения, – отвечал я. – Это Долг мой.

– Ты – доброе дитя. Слушай же. Мне кажется, что некоторые кавалеры, которым случилось видеть в Мадриде моих племянниц, последовали за ними и сюда; ты

должен разведать, справедливы ли мои подозрения. Понимаешь ли?

– О, совершенно! – отвечал я.

– Хорошо. Так смотри же наблюдай, а вот тебе два реала на гостинцы.

Таким образом вдруг поступил я в действительное звание пажа. Два реала положил я в кошелек к золоту и решился, как вы легко себе представите, оказывать услуги сообразно с вознаграждением. Однако, как я узнал после, в самом начале моего нового поприща сделал я непростительный промах – я перемешал любовные записки: записку донны Эмилии отдал я дону Флоресу, любовнику донны Терезы, а записку донны Терезы – дону Пересу, обожателю донны Эмилии. Но не лучше ли будет объяснить вам то, что узнал я впоследствии?

Дон Перес, возлюбленный Эмилии, был молодой человек, и должен был, по смерти дяди, у которого он был единственным наследником, вступить во владение обширным имением; между тем как дон Флорес уже обладал большим имением и мог выбирать себе супругу по собственному желанию.

Молодые донны, боясь быть открытыми, писали записки не своим почерком и не подписывали своих имен. Письмо Эмилии было следующего содержания:

«Я нашла вашу записку на известном месте, но тетушка взяла ключ от сада к себе и, как думаю, подозревает нашу связь. К чему вы так настойчивы? Думаю, что любовь ваша, подобно моей, от препятствий не слабеет, напротив, делается еще сильнее. Мне невозможно эту ночь видеться с вами, но паж на нашей стороне, я надеюсь скоро писать к вам».

Письмо Терезы, которое я отдал дону Пересу, было таково: «Не могу долее противиться вашим просьбам видеться со мною. Тетушка заперла сад, но если вы имеете столько смелости, чтобы перелезть садовую стену, то найдете меня в беседке. Но нам не должно говорить друг с другом, потому что слуги беспрестанно проходят мимо дверей, также мы должны быть без огня. Полагаюсь на ваше благородство».

Дон Перес был вне себя от восхищения, что наконец, донна Эмилия согласилась на свидание, а дон Флорес, огорченный слишком скромным поведением своей

возлюбленной, отправился домой, про себя упрекая Терезу в кокетстве.

В назначенный час дон Перес имел свидание с мнимой возлюбленной. Обе сестры не скрывали ничего друг от друга, а так как я был их поверенным, то и говорили они при мне без всякой осторожности.

На другой день, когда тетка вышла из комнаты, завязался между ними маленький спор о личных достоинствах их любимцев. Чтобы решить его, они обратились ко мне.

– Педро, – сказала Тереза, – ты решишь наш спор. Который из двух кавалеров лучше?

– Я думаю, – сказал я, – что ваш сеньор лучший из блондинов, которых когда-либо случалось мне видеть, но прекрасные черные глаза кавалера донны Эмилии так же единственны в своем роде.

– Но, Педро, ты их перемешал, – сказала Эмилия. – Дон Перес, блондин, мой обожатель, а брюнет, дон Флорес, любит сестру мою.

Тут-то я заметил свою ошибку при передаче записок. Тереза покраснела. Однако у меня достало ума ответить:

– Точно так, сеньора, вы правы, вижу, что я ошибся. Вскоре затем вошла в комнату тетка, и Тереза, уходя, сделала мне знак следовать за ней. Когда мы были одни, она сказала:

– Скажи мне правду, Педро. Ты перемешал письма, и мое отдал дону Пересу, блондину, – не правда ли?

– Признаюсь, что так, – отвечал я, – потому что брюнету я уже отдал письмо донны Эмилии.

Донна Тереза закрыла лицо руками и залилась слезами.

– Педро, – сказала наконец она – не говори об этом никому, слышишь ли, или ты погубишь меня. Боже, что будет со мной? – воскликнула она.

Донна Тереза была безутешна. Наконец она отерла слезы и после долгого размышления взяла клочок бумаги и написала что-то.

– Педро, – сказала она, – возьми эту записку и вручи ее брюнету, слышишь ли, брюнету?

Тереза читала письмо Эмилии к дону Пересу, которое попало в руки дона Флореса, а потому и написала теперь:

«Вы, может быть, упрекаете меня в излишней строгости за отказ мой увидеться с вами вчера вечером, но я боялась… Не думайте, чтобы я издевалась над вашими чувствами. Ожидаю вас в садовой беседке, в которой в прошедшую ночь уже были без нас… Будьте там в девять часов».

Я отдал записку дону Флоресу.

– Передай донне Терезе, – сказал он, – что я непременно буду. Теперь знаю, отчего вчера она не хотела видеть меня. Дай Бог, чтобы я был так же счастлив, как и дон Перес.

Он дал мне дублон и удалился. Не успел я еще уйти, как наткнулся на дона Переса.

– Ба, это ты, паж! Счастливая встреча! Пойдем ко мне, я дам тебе записку к Эмилии.

Я повиновался, и он подарил мне, как прежде, четверть дублона.

– Покорно благодарю, сеньор! – сказал я. – Дублоны дона Флореса и ваши четверти дублонов скоро обогатят меня.

– Как! – сказал он. – Дон Флорес дает тебе по дублону? Он, верно, сошел с ума. Но я не хочу, чтобы он давал тебе больше моего. Вот тебе полтора дублона, что с полученным тобою от меня составит столько же.

Я поклонился, поблагодарил и ушел.

Несмотря на молодость, я понимал, что в свидании прошедшей ночи было что-то, что произвело глубокое впечатление на донну Терезу. А так как я любил ее более Эмилии, то и рассудил за благо, прежде чем отдам письмо Эмилии, посоветоваться с донной Терезой.

Я сделал ей знак, чтобы она следовала за мной в свою комнату, и пересказал ей ответ дона Флореса, присовокупив также его желание «быть так же счастливым, как был дон Перес в прошедшую ночь». Она покраснела от стыда и горести. Я рассказал ей, как дон Перес пригласил меня к себе, и что случилось. После чего подал я ей записку и спросил ее, должен ли я отдать ее Эмилии, или нет. Поспешно сорвала она печать и прочитала следующее:

«Где взять слов, чтобы выразить мою благодарность милой Эмилии за то, что получил я от нее в прошедшую ночь! Умоляю вас, уведомите меня, когда будет мне дозволено вторично видеться с вами. Жизнь без вас мне в тягость. Вы одна делаете ее для меня сносной».

– Педро, – сказала она, – ты оказал мне большую услугу, ты спас меня. Чем заплачу я тебе за это?

– Дайте мне вместо одного – два поцелуя, – отвечал я.

– Тысячу раз готова я целовать тебя, – отвечала она, прижав меня к груди и целуя, и слезы ее омочили мое лицо.

После чего взяла она лоскут бумаги и, стараясь подражать руке Переса, написала следующее:

«Я повинуюсь вам, жестокая; вы не увидите меня до тех пор, пока не будет на то вашей воли. Счастливый Флорес – завидую ему!.. Но, Эмилия, неужели никогда не сжалитесь вы надо мною? Я так несчастлив! Если вы меня еще любите, удостойте вашим ответом. Вас обожающий Перес».

– Отнеси, милочка, эту записку к сестре. Чего хочешь от меня за это?

– За это спрячьте мои деньги, – сказал я, – потому что, если увидит их у меня ваша тетушка, то чем отговорюсь я, когда спросит меня, откуда взял их?

Она грустно улыбнулась, взяла мои дублоны и заперла их в свой туалет.

– Я умножу твое имущество, Педро, – сказала она.

– Нет, извините, – отвечал я, – от вас беру я одни поцелуи.

Я рассказал ей, за что донна Изабелла дала мне два реала, и мы расстались. Я отдал записку донне Эмилии и в тот же день получил от нее ответ. Но я не хотел делать ничего без донны Терезы, и мне казалось, что еще можно поправить мою ошибку. Я принес к ней ответ Эмилии Пересу и сообщил свои мысли.

– Ты мой ангел-хранитель! – отвечала Тереза.

Она распечатала письмо Эмилии; содержание его было следующее:

«Вы называете меня жестокой, но напрасно. Одному Богу известно, как страдаю я сама, не видя вас. При первом удобном случае мы увидимся. Но тетка моя, как уже я писала вам, приняла все меры предосторожности; Тереза легкомысленна; решиться на подобный поступок я не в силах. Одна мысль быть открытой ужасает меня».

Тереза разорвала записку и написала:

«Бели женщина иногда – бывает так несчастна, что уступает по слабости просьбам своего возлюбленного, он делается еще настойчивее и требует того, о чем бы должен был умолять как о милости. Я думаю, что все, происходившее в темноте, должно оставаться тайной и не срываться с языка. Объявляю вам, что малейший намек на наше свидание в прошедшую ночь я буду считать за оскорбление, а чтобы наказать вас за вашу настойчивость, я отказываю вам в свидании, как отказывала прежде. Надеюсь, что вы исполните мое желание. Получить от меня прощение зависит от вас самих; я посмотрю, как вы будете вести себя. Когда пожелаю увидеть вас, я о том уведомлю. До тех пор остаюсь вашей и пр.».

Я отнес это письмо дону Пересу; у него в это время был и дон Флорес: они не скрывали друг от друга ничего. Он распечатал письмо, и, казалось, был удивлен его содержанием.

– Кто разгадает женщин! – воскликнул он. – Прочитай, Флорес, эту записку и скажи, что ты об этом думаешь.

– Что думаю? – отвечал Флорес. – Что мне нравится ее ум. Иная женщина на ее месте только и боялась бы того, чтобы ее не покинули; напротив, она требует еще большей привязанности, требует твоей покорности. Если не хочешь лишиться любви своей возлюбленной, советую тебе в точности исполнить ее приказание.

– Отчасти ты прав; после свадьбы мы становимся главой дома, отчего же не дать им повластвовать над нами до свадьбы? Я люблю ее теперь еще более чем прежде, и если ей угодно играть роль жестокой – пожалуй, я готов терпеть. Это служит доказательством ее ума: держа нас от себя на почтительном расстоянии, они этим только и могут привязывать нас.

Я торопился домой и вручил Эмилии письмо от Переса, в котором он обещал покориться во всем ее воле. Я сообщил Терезе все, что происходило между кавалерами.

– Благодарю тебя, Педро! – сказала она. – Наконец, слава Богу, все идет хорошо. Но мы еще не в безопасности. Я должна признаться тебе, что ласки, которые готовила я для своего возлюбленного, по милости твоей расточала я другому; темнота и безмолвие способствовали тому. Но надеюсь, что все пройдет без дурных последствий и что я не буду принуждена раскаиваться в неумышленном проступке.

В этот же вечер Тереза имела свидание с доном Флоресом, а на другое утро спросила меня госпожа, подле которой по обыкновению сидел я:

– Ну, Педро! Открыл ли ты что-нибудь?

– Как же, – отвечал я.

– Что же такое?

– Один господин просил меня передать письмо, да я отказался.

– А к кому было это письмо?

– Этого я не знаю, потому что я не брал его в руки.

– Хорошо, Педро. Но если он в другой раз будет давать тебе письмо, то возьми его и принеси ко мне.

– Очень хорошо, – сказал я.

– Вот тебе два реала.

Я вышел. В другой комнате встретила меня Эмилия и дала мне письмо к дону Пересу. Я отнес его сперва к моей приятельнице Терезе, она распечатала его.

«Наконец любовь пересилила мою решимость, – писала она, – я согласна говорить с вами. Мы увидимся в беседке. Берегитесь оскорбить меня, не то наше свидание будет последним».

– Это письмо может идти по назначению, – сказала Тереза.

Я отнес его дону Пересу, он не успел еще прочитать его, как в комнату вошел дон Флорес.

– Порадуйся моему счастью, любезный друг, – сказал он, – меня приняли так, как только мог я этого желать.

– Немного тоже нужно было времени, чтобы смягчить сердце Эмилии, – отвечал Перес. – Она назначила мне сегодня вечером свидание. Педро, скажи твоей госпоже, что я ответа не пишу, но что восхищен ее добротой и не замедлю явиться. Понял меня? Чего же ты ждешь еще? А, плутишка, понимаю! Вот тебе, – и он бросил мне один дублон.

– Ты даешь мальчику слишком много денег, Флорес, – сказал он. – Я вынужден давать столько же.

Флорес засмеялся, я поклонился и вышел.

Таким образом справлял я некоторое время ремесло любовного почтальона, как внезапно госпожа моя захворала и умерла. Она отказала свое имение двум племянницам, каждой поровну. Они получили теперь полную свободу располагать своей рукой и вскоре вышли замуж за своих любимцев. Старуха в завещании забыла меня, и если бы донна Тереза не взяла меня к себе в услужение, я был бы принужден скитаться без пристанища по миру.

Я был очень доволен своим состоянием, хотя выдача дублонов и прекратилась с замужеством молодых донн. Дон Перес был верен своему обещанию и до самой свадьбы не упоминал о несчастном ночном свидании. Теперь же сделался он смелее и решил намекнуть об этом своей супруге.

Донна Эмилия изумилась и уверяла его, что вовсе не назначала ему никакого свидания. Сначала он смеялся над ней, называл лгуньей, наконец показал ей записку, в которой она запрещает упоминать о свидания в беседке. Донна Эмилия утверждала, что записку писала не она, и сказала ему, что в эту ночь Тереза назначала свидание в беседке дону Флоресу.

– Напротив, – отвечал Перес, – в то же время, как я получил это письмо от тебя, он получил записку от Терезы, в которой она отказывала ему в свидании.

Донна Эмилия залилась слезами.

– Теперь я вижу все, – сказала она. – Паж по ошибке перемешал письма и мое отдал дону Флоресу, а письмо Терезы попало к тебе, и ты был так низок, что воспользовался этой ошибкой: ты имел свидание с сестрой. Не оправдывайся, Перес, я не поверю. Тебе нельзя было не заметить ошибки, когда ты виделся с нею в беседке, а она не могла не отличить его от дона Флореса. Жестокая! Она сделала меня навек несчастной. Вероломный, и ты мог так поступить с твоим другом и с той, которая любила тебя более всего на свете!

Дон Перес напрасно старался успокоить свою жену; ревность, гордость заглушили в ней все другие чувства; ни уверения, ни клятвы не могли убедить ее. Чтобы точнее узнать обо всем, обратился он ко мне.

Он пришел в дом дона Флореса и просидел у него некоторое время. Он был так расстроен, что друг его стал даже беспокоиться о его здоровье. Выходя, сделал он мне знак следовать за ним. Когда мы были одни, спросил он у меня о

передаче писем. Я увидел, что ему и его жене все известно, и единственное мое желание было вывести из беды донну Терезу.

– Сеньор, – сказал я. – Была ли то донна Эмилия, или кто другая – не знаю, но что то была не донна Тереза – могу ручаться, потому что весь вечер проиграл я с ней в пикет, а по окончании игры она пошла спать.

– Кто же это был? – спросил он.

– Не знаю; я не ходил в нижние комнаты, где была госпожа моя. Она приказала мне идти спать, и потому не могу сказать вам, имела ли донна Эмилия свидание с вами, или нет.

Дон Перес был в недоумении; наконец решил, что, верно, жена его стыдится сознаться в своем легкомыслии. Он воротился домой, чтобы рассказать ей все слышанное от меня, но не застал ее дома; она ушла вслед за ним, не сказав никому куда.

Лишь только дон Перес ушел, поспешил я к своей госпоже и уведомил ее о случившемся и о том, что сказал я.

– Благодарю тебя, Педро, за твою ко мне привязанность, – сказала она, – но я боюсь, что все откроется, и я буду наказана за свою глупость и свое безрассудство.

Вскоре донна Эмилия, которая скрылась из дома в ближайший монастырь, прислала за доном Флоресом. Он нашел ее в слезах. Ревность вселила в нее мысль, что сестра ее любит дона Переса и что он отвечает ее склонности; она рассказала дону Флоресу обо всем и объявила ему, что решилась навсегда удалиться от, света.

Дон Флорес пришел в бешенство.

– Так вот причина ее отказа! – воскликнул он. – Вот почему на другой день она была со мною так нежна! Обманутый глупец!.. Но, слава Богу, время мести еще не ушло. О, дон Перес! Ты мне дорого заплатишь за это!

И он вышел от донны Эмилии в нерешимости, кому должен мстить он, дону ли Пересу, или жене? Но случай разрешил это недоумение. При выходе из монастыря он встретился с доном Пересом, который узнал, куда ушла жена его.

– А, это вы, дон Перес! – сказал он. – Вас-то мне и нужно, низкий, подлый человек!

– Вы не правы, дон Флорес. Я несчастный, который по ошибке сделал невольное преступление. Возьмите назад ваши слова, я не заслуживаю их.

– Нет, я не возьму их, напротив, докажу их истину острием шпаги. Дон Перес! Если ты не трус, следуй за мной.

– Такие слова делают невозможным всякое объяснение. Я готов к вашим услугам! – воскликнул дон Перес.

Молча шли они один подле другого до близлежащего поля. Они сбросили с себя плащи, обнажили шпаги и с яростью кинулись друг на друга. Победа осталась на стороне дона Переса: его шпага насквозь проколола противника. Дон Перес бросил мрачный взгляд на окровавленный труп друга, обтер свою шпагу, завернулся в плащ и направил шаги к дому дона Флореса.

– Донна Тереза! – сказал он, входя в комнату, в которой был я со своей госпожой. – Я требую от вас именем Бога сказать мне всю правду. Вас ли встретил я в беседке, и ласки, назначенные дону Флоресу, достались по ошибке мне, не так ли?

Взгляд его был так дик, голос так страшен, что донна Тереза затрепетала. Наконец она прошептала:

– К несчастью, это правда. Но вы прекрасно знаете, что сердце мое чуждо измены, хотя я, открыв ошибку, и старалась скрыть мое безумство.

– Если бы вы были, сеньора, так же добродетельны, как сестра ваша, то этого бы не случилось, и ваш супруг не был бы убит рукой друга.

Донна Тереза без чувств упала на пол, и дон Перес поспешно вышел. Я бросился к ней на помощь, и мне удалось возвратить ее к жизни.

– Да, правда, – сказала она печальным голосом. – Преступление не остается без наказания или в этой, или в будущей жизни. Я слишком предалась любви, забыла уроки добродетели, я слишком любила своего мужа – и сама убила его. Боже мой, Боже мой! Я убила его; я погубила два существа, сделала для них жизнь такой же несносной, как несносна она теперь мне. Бедная сестра, где она?

Напрасно старался я утешить ее. Она просила меня об одном: узнать, где донна Эмилия, и уведомить ее об этом. Я отправился в путь и встретился с людьми, которые несли в город тело дона Флореса. Я содрогнулся при виде его, вспомнив о роли, которую играл я в этой трагедии.

Скоро удалось мне собрать нужные сведения, и я воротился к своей госпоже. Она оделась в глубокий траур и приказала мне следовать за собой. Она направила шаги к монастырю, постучалась, сказала, что желает говорить с игуменьей, и нас впустили.

– Я желаю видеть сестру, сеньора, – сказала она игуменье, – проводите меня к ней и, пожалуй, если вам угодно, будьте при нашем свидании.

Мы вошли в комнату Эмилии. Лишь только она увидела донну Терезу, как отвернулась от нее с явным презрением.

– Эмилия, – начала моя госпожа, – одна мать родила нас, мы провели детство вместе, вместе и выросли. Никогда до этой несчастной минуты не скрывали мы ничего друг от друга. На коленях прошу тебя выслушать меня и поверить словам моим.

– Оправдывайся лучше перед своим мужем. Тебе нужнее его, чем мое прощение.

– У меня нет мужа, Эмилия. Он стоит теперь перед престолом Всевышнего и отвечает сам за себя. Он пал от руки твоего мужа.

Донна Эмилия при этих словах содрогнулась.

– Да, Эмилия, милая сестра, его уже нет, и ты – причина его смерти. Не умерщвляй и меня, Эмилия, верь мне, что ошибка была мне неизвестна, пока Педро не открыл мне ее на другой день. Если бы ты знала, что вытерпела я, если бы ты видела мой стыд, мое горе и страх быть открытой – о, ты бы, верно, простила меня! Скажи же мне, Эмилия, ты веришь мне? Ты простила меня, Эмилия? Неужели не простишь сестру свою?

Эмилия молчала. Тереза обняла ее колени и рыдала. В эту минуту вошел дон Перес, получивший позволение видеть жену свою. Он приблизился к несчастным женщинам и сказал:

– Вы, Тереза, причина общего нашего несчастья, но вы не услышите от меня более ни одного упрека, вы наказаны более, чем того заслужили. К вам, сеньора, должен я обратиться. Вы не верили мне, вы заставили меня убить моего лучшего друга. Довольны ли вы теперь? Или вам еще угодно отравлять жизнь мою вашим несправедливым, низким подозрением? Довольны ли вы тем, что лишили несчастную, но не преступную сестру вашу мужа, а меня – друга? Скажите, довольны ли вы, или вашему неверию нужны еще новые жертвы?

Эмилия молчала.

– Если вы этого хотите, пусть будет по-вашему, – сказал дон Перес, обнажил шпагу и вонзил ее себе в грудь прежде, чем кто-либо успел отгадать его намерение.

– Эмилия, пусть смерть моя будет доказательством истины слов моих. Клянусь тебе именем Бога, что я говорил правду! – При этих словах дон Перес упал на пол, и язык его замолчал навсегда.

Эмилия вскрикнула и в отчаянии бросилась на труп своего супруга. Сомнение исчезло. Она обвила его шею руками и в горести воскликнула:

– Я верю! Да, да, я верю тебе! Перес, скажи же мне хоть одно словечко, Перес, друг мой!.. Боже мой, он умирает! Сестра, Тереза, слышишь ли? Он говорит с тобой, он не сердится на тебя. Сестрица, отвечай же ему… Боже! Боже! Он умер, и я умертвила его! – И в отчаянии колотилась несчастная головою об пол.

Тереза бросилась к ней и, заливаясь слезами, заключила ее в свои объятия. Долго Эмилия не приходила в себя, наконец слезы облегчили ее страдания.

– Кто это держит меня? Ты, Тереза? Добрая сестра! И тебя я так больно огорчила! Я верю тебе, Тереза, видит Бог, верю совершенно! Поцелуй же меня, сестра, и скажи мне, что ты тоже простила меня, ведь и я уже наказана!

– Нет, я, я одна виновата! – воскликнула Тереза, заливаясь слезами. – О, как безумно поступила я!

– Нет, сестра, твоя вина перед моей ничтожна. Ты увлекалась страстью, но от избытка любви – благороднейшего из чувств, которыми небо наделило нас. И меня увлекала страсть, но что было ее источником? Ненависть, жажда мести – чувства, внушенные адом. Но уже всему конец, раскаяние поздно.

Несчастные сестры бросились друг к другу в объятия, и слезы их смешались. Излишним считаю уверять вас, что игуменья и я не могли тоже удержаться от слез.

При наступлении ночи они расстались, каждая отправилась бдеть над гробом своего супруга и орошать слезами труп его. Спустя несколько дней после погребения Эмилия позвала к себе сестру проститься с нею, после чего она постриглась, отказав все свое земное имущество церкви.

Донна Тереза не хотела идти в монастырь и посвятила жизнь свою делам милосердия и человеколюбия, но силы быстро оставляли ее, сердце ее было растерзано. Три года еще жил я у нее, по прошествии этого времени она умерла. Она отказала мне значительную сумму, а остальное имущество обратилось в пользу бедных.

Тому прошло уже около пяти лет, в продолжение которых жил я доставшимся мне по смерти моей благодетельницы имуществом. Но своей расточительностью я спустил почти все. Одно только беспокоило меня – это неизвестность моего рождения. И теперь я его знаю и надеюсь, что буду достоин доброй матушки и милой девицы, осчастливившей недостойного своей любовью.

Матушка и Клара поблагодарили меня за рассказ; мы не расставались до поздней ночи, толковали о семейных происшествиях и о планах в будущем.

Матушка сказала мне, что имение ее должно перейти в руки какого-то двоюродного брата, но что она скопила порядочную сумму в приданое Клары и что надеется до смерти своей еще увеличить его.

Так как очень хотелось убраться поскорее из Севильи, в которой я каждую минуту должен был бояться быть открытым, то и предложил матушке поселиться в ее имении, недалеко от Картахены, где я в кругу милых сердцу считал бы себя счастливейшим из смертных.

Матушка с радостью согласилась на мое предложение и более потому, что вопросы, которые могли бы быть мне предлагаемы, могли замарать ее доброе имя. Менее чем в четырнадцать дней оставили мы Севилью и отправились в имение матушки, где Клара осчастливила меня своей рукой.

Теперь был я вне всякой опасности. Жизнь моя до сих пор протекала в обманах и плутнях, а теперь решился я примерным поведением загладить прошлые грехи. Донну Селию, была ли она точно моей матерью, или нет, любил я от всей души. Моя Клара была так добра и нежна, как только мог я этого желать, и в продолжение пяти лет ничто не омрачало моего счастья. Но оно было не вечно, скоро был я наказан за обман.

Мое супружество с Кларой и тайна моего рождения раздражали будущего наследника, который питал себя надеждой жениться на Кларе и вступить во владение всем имением. Иногда мы видались, но мы ненавидели друг друга.

Боясь быть открытым, с самого своего супружества я бросил музыку и даже уверял всех, что не умею петь. Хотя впоследствии мне нечего было уже страшиться, все-таки не был я расположен выказать в себе способность, до тех пор скрытую, и, изобличив себя перед матерью и женой, быть принужденным сознаться в обмане, к которому я прибегнул.

В один вечер сошелся я в многочисленном собрании с двоюродным братом. Общество было настроено к веселости, и мы пили более, чем когда-нибудь, пели песни, и ночь прошла в забавах и смехе. Двоюродный брат мой, разгоряченный вином, беспрестанно делал на мой счет колкие замечания. Сначала не обращал я на то никакого внимания, но наконец он вывел меня из терпения, и я отвечал ему с таким жаром, что он почти пришел в ярость. Кровь кипела в моих жилах, но нас уговорили общие друзья, и мы снова принялись за стаканы. Двоюродного

брата просили спеть что-нибудь. Он обладал прекрасным голосом, пел с чувством и заслужил всеобщее одобрение.

– Теперь, может быть, угодно будет дону Педро потешить общество, – сказал он потом насмешливо. – Вероятно, он не откажет нам в удовольствии услышать его прекрасный голос и восхититься его прекрасной игрой.

Взбешенный этими словами и разгоряченный вином, я забылся, вырвал из рук его гитару и после прелюдии, изумившей всех, начал одну из лучших песен; все общество было вне себя от восхищения. Когда я кончил, громкие крики возвестили мою победу и срам моего родственника. Меня душили в объятиях, требовали повторения. Но когда восстановилась прежняя тишина, услышал я за собой:

– Это голос Ансельмо или самого черта.

Я опомнился, обернулся, чтобы увидеть лицо говорившего, но его уже не было. Я заметил, что за ним вышел мой двоюродный брат, и проклинал свое безрассудство. Я отправился домой.

После узнал я, что двоюродный брат говорил с незнакомцем. Тот был из духовных, знавший меня в Севилье. Он узнал от него, что Ансельмо уже около пяти лет оставил монастырь и что положили, что с ним случилось какое-нибудь несчастье. Но в монастыре уже знали, что Ансельмо вел жизнь, не приличную его званию.

Ваше Благополучие, вероятно, припомните, что когда я надел на себя мирскую одежду, чтобы выдать себя за сына донны Селии, монастырское платье оставил в своей квартире. Я запер его и парик в сундук в надежде воротиться и запрятать их подальше, но забыл об этом и уехал из Севильи с ключом от своей квартиры в кармане. Хозяин ждал до срока, а так как по истечении его он не получал от меня никаких известий, то взломал дверь и нашел сундук. Он открыл его и вынул парик и орденское платье. Он представил их в монастырь; по номеру на платье узнали тотчас, кому принадлежало оно. Но как ни старались отыскать меня, все поиски оставались без успеха.

Узнав обо всем этом, родственник мой отправился в Севилью, чтобы узнать день, в который я скрылся из монастыря, и узнал, что то было за две недели до

отъезда донны Селии из Севильи. После чего он отыскал моего хозяина, от которого узнал, что квартиру у него нанимал один послушник из монастыря для своего брата. Он подробно описал наружность брата, которая была совершенно сходна с моей, и мой родственник из всего этого вывел заключение, что Ансельмо и дон Педро – одно и то же лицо. Тотчас об этом дано было знать инквизиции.

Мое положение было ужасно. Я ясно видел, что все мои плутни будут открыты, и придумывал, что мне нужно было предпринять. Горестно было убедиться, что порок рано или поздно получит достойную награду.

Если бы я с самого начала открыл все донне Селии, то ее влияния было бы достаточно – так как она признавала меня за своего сына, – чтобы выручить меня из беды. Но обман повлек за собой другой обман, и я так запутался в своих собственных сетях, что, наконец, сам не мог выпутаться из них.

Но не о себе жалел я; мне было жалко своей жены, которую так нежно любил я, своей матери, или, пожалуй, той, которую считал матерью: мои поступки могли причинить ей смерть.

Одна мысль – сделать других несчастными – приводила меня в отчаяние, и все-таки я не знал, что мне нужно было делать.

Наконец, после долгих рассуждений, решился я на последнее средство – прибегнуть к благородству моего брата, потому что, хотя он и питал ко мне ненависть, но все-таки, как испанец, дорожил своим добрым именем. Лишь только узнал я, что он воротился из Севильи, как отправился к нему и велел доложить о себе. Дон Альварес – так звали его – принял меня и встретил следующими словами:

– Дон Педро! Вы желаете говорить со мной; в этом доме есть другие, которые желают говорить с вами.

Я видел, что он подразумевал под этими другими членов инквизиции, но сделал вид, будто не понимаю его, и отвечал:

– Альварес! Ненависть, которую вы питаете ко мне, дала вам повод думать, что супружество вашей двоюродной сестры с человеком неизвестного

происхождения оставляет пятно на вашей фамилии. Из уважения к благородной даме, которой обязан я своим существованием, долго терпеливо переносил я ваши оскорбления. Но теперь я нахожу себя вынужденным объявить вам, что я несчастный плод ранней любви донны Селии, которая, вероятно, вам небезызвестна. Думаю, что имею дело с благородным человеком и могу надеяться, если не на дружбу, то по крайней мере на сострадание к тому, в котором есть хоть сколько-нибудь вашей благородной крови.

– До сих пор я не знал этого, – отвечал дон Альварес с озабоченным видом. – О, если бы вы открыли мне это раньше!

– Тогда это послужило бы, может быть, в пользу, – заметил я. – Но позвольте высказать вам все.

Тут я рассказал ему, что я точно Ансельмо и что сделал, когда узнал тайну моего рождения.

– Вижу, – продолжал я, – что поступал дурно, но любовь к донне Кларе сделала меня слепым к последствиям. Ваша несчастная ненависть ко мне обличила меня и, вероятно, навлекла на меня погибель.

– Вижу справедливость слов ваших и признаюсь, что спасти вас теперь уже я не в силах. Очень сожалею, но что сделано, того уже не исправишь. В то время, как я говорю с вам, посланные инквизиции уже в вашем доме.

Лишь только сказал он это, как громкий стук дал знать об их приближении.

– Нет, этому не бывать! – сказал дон Альварес. – Войдите сюда!

Он открыл потаенную дверь и впустил меня. Едва успел он захлопнуть ее, как в комнату вошли.

– Он здесь, не правда ли? – спросил один.

– К сожалению, нет, – отвечал дон Альварес. – Я старался всячески задержать его, но лишь только узнал он о преследовании, шпагой очистил путь, и не знаю, какую дорогу избрал себе. Впрочем, он должен быть недалеко отсюда. Я велю

оседлать всех лошадей из моей конюшни. О, он не уйдет от нас, готов ручаться половиной моего имения.

Так как дон Альварес сам выдал меня, то посланные инквизиции нисколько не подозревали его, напротив, спешили исполнить его распоряжения. Лишь только они удалилась, он открыл потайную дверь и выпустил меня.

– Дон Педро! Я доказал вам справедливость слов моих. Чего еще хотите вы от меня?

– Одного, дон Альварес: скрыть истину от моей бедной жены и матери. Я все перенесу с твердостью, но участь их мучит меня.

При этих словах бросился я на диван и залился слезами. Дон Альварес был глубоко тронут.

– Ах, дон Педро! Теперь уже поздно. Если бы вы открыли мне тайну вашего рождения раньше, то этого бы не было. Вместо того, чтобы преследовать вас, я был бы вашим другом. Что мне делать теперь?

– Убейте меня, дон Альварес, – отвечал я, обнажая грудь свою, – и я буду благословлять вас за это! Смерть моя опечалит их, но печаль со временем ослабеет; однако узнать, что я обманщик, что я казнен инквизицией – это убьет их, положит вечное пятно на их имя.

– Ваше замечание справедливо, но я не могу умертвить вас. Однако я скорее соглашусь навлечь на себя ненависть женщин, принять на себя причину вашей смерти, чем допущу поругание нашей фамилии.

Он открыл бюро и вынул кошелек с тысячью пистолей.

– Вот все, что теперь есть у меня; эти деньги вам пригодятся. Переоденьтесь, я выдам вас за своего слугу и провезу до какой-нибудь гавани. После чего я распущу слух, что имел с вами поединок, и постараюсь, чтобы инквизиторы скрыли известные вам обстоятельства.

Совет был недурен, и я решился последовать ему. Я приехал с ним в Картахену, сел на корабль и отправился в Новую Испанию. Но, не доходя еще до пролива Гибралтара, мы были захвачены одним кораблем под вашим флагом. Мы защищались с отчаяньем, но должны были наконец уступить числу, и неприятель завладел нашим кораблем. Нас высадили в этой гавани, где я с прочими моими товарищами был продан.

– Вот моя история, – заключил испанец. – Надеюсь, что она заняла Ваше Благополучие.

Ответом было громкое зевание паши.

– Шукур Аллах! Слава Богу, ты кончил! Из всего сказанного тобой мало что понял я, – сказал паша и добавил, обращаясь к Мустафе: – Да что же и ожидать лучшего от неверного.

– Уаллах-такб! Слова самой мудрости, клянусь Аллахом! – отвечал Мустафа. – Толкуют о мудрости Локмана. Велика ли была она? Ваши слова не дороже ли жемчуга?

– А как звалась земля? – спросил паша.

– Испания, Ваше Благополучие. Неверные, которые населяют ее, разводят для правоверных масличные деревья.

– Точно, – сказал паша, – теперь я вспомнил. Дай кафиру два золотых, и пусть идет своей дорогой.

– Да не уменьшится тень Вашего Благополучия во веки! – сказал испанец. – У меня есть рукопись одного престарелого монаха, который, умирая, вручил мне ее. Выгружая корабль, ее выбросили, и я сохранил рукопись как редкость. Так как Ваше Благополучие любит повести, то думаю, эта достойна того, чтобы перевели ее.

Испанец вынул из кармана грязный пергамент.

– Хорошо, – сказал паша, вставая. – Мустафа, вели греческому рабу перевести ее на арабский язык. Когда у нас не будет рассказчиков, он прочитает нам ее.

– Бе хесм! Отвечаю за то глазами! – сказал Мустафа, низко кланяясь, между тем как паша шел в гарем.

## Глава V

Уже несколько ночей кряду паша продолжал свои розыски – и все без успеха. Мустафа, замечая, что терпение его уже истощается, рассудил за благо позаботиться самому о средствах для развлечения Его Высокомочия.

Когда еще Мустафа подвизался на благородном поприще брадобрея, знал он коротко одного французского ренегата, малого с талантом и отличавшегося удивительным присутствием духа, но отъявленного плута, который до возведения Мустафы в звание визиря прогуливался по морю на корсарском судне и занимался морским разбоем.

Теперь он находился в службе у визиря и командовал вооруженной шебекой. Он ходил под турецким флагом, в сущности же, был просто морским разбойником.

На него пал выбор Мустафы. Он позвал его к себе и, чтобы скорей приблизиться к цели, спросил, читал ли тот «Тысячу и одну ночь».

– Как же, – отвечал ренегат, – я читал их еще за несколько лет перед принятием веры Магомета.

– А ты не забыл еще путешествий мореходца Синдбада?

– Конечно, нет; он один только равен мне в искусстве лгать.

– Хорошо. Его Благополучие, наш милостивый паша, без ума от подобных историй, и я желал бы, чтобы ты, подобно Синдбаду, рассказал нам историю твоих путешествий.

– А что дадут мне за это?

– Мое благоволение будет тебе за то наградой. Сверх того, паша, смотря по тому, как тебе удастся занять его, не поскупится на хороший подарок.

– Прекрасно! – сказал Селим (это имя получил он при перемене религии). – Всякий, кто только имеет случай добыть золото, найдет всегда средства выменивать его на мелкую монету. Мне легче выдумывать небывальщину, чем паше чеканить цехины. Итак, я к вашим услугам.

– Но, Селим, ты должен стараться, чтобы твоя ложь носила всегда на себе хотя бы тень истины.

Вечером по приказанию Мустафы ренегат находился на углу одной улицы, по которой Мустафа вел переодетого пашу.

Лишь только они поравнялись с ренегатом, как ют воскликнул:

– Аллах, Аллах! Когда придет то блаженное время, которое обещано мне в седьмом путешествии по морю?

– Кто ты и для чего взываешь к небу о счастливейшем времени? – спросил паша.

– Я – Гуккэбак, моряк, – отвечал ренегат, – человек, который, проведя жизнь, богатую опасностями и несчастьями, теперь с нетерпением ожидает исполнения обещания, данного ему свыше.

– Мне нужно завтра поговорить с этим человеком, – сказал паша. – Мустафа, смотри за ним, ты отвечаешь за него головой! – И довольный находкой, паша без дальнейших приключений воротился во дворец.

На следующий день по окончании дивана велено было позвать ренегата. Он повергся перед пашой ниц, потом поднялся, сложил руки крестообразно на груди и молча ожидал приказаний.

– Я велел позвать тебя, Гуккабак, чтобы услышать от тебя объяснение слов, сказанных вчера вечером, и узнать обещание, сделанное тебе в седьмом и

последнем твоем путешествии. Но, пожалуйста, нельзя ли начать с первого? Мне желательно было бы услыхать историю всех твоих путешествий.

– Раб Вашего Благополучия живет только для того, чтобы повиноваться вашим мудрым приказаниям. Все, что только случалось со мной в продолжение моей разнообразной жизни, все, если того желает Ваше Высокомочие, подлейший из рабов ваших передаст со всевозможной точностью. Однако, мне кажется, для большей удобопонятности целого не излишне сказать несколько слов о моей юности.

– Аферин! Прекрасно! – воскликнул паша. – Мне все равно, как ни долга твоя история, лишь бы была она хороша.

И Селим, севши по знаку паши, начал.

## Гуккабак

Я родился в Марселе и был с малолетства приготовлен к ремеслу моего отца, ремеслу, которое, как я полагаю, образовало более, нежели какое-нибудь другое, многих гениальных, достойных мужей – я говорю о ремесле брадобрея.

– Уаллах таиб! Клянусь Алахом! Умно сказано! – заметил Мустафа.

Паша кивнул головой в знак согласия, и хитрый ренегат продолжал.

Природа наделила меня остроумием, и для моего воспитания не жалели ни издержек, ни трудов. Отец мой, кроме занятий брадобрея, слыл искусным в выдергивании зубов и пускании крови. На одиннадцатом году я был уже довольно сведущ в стрижке волос, хотя и говорили, что головы, которые побывали под моими ножницами, выглядели, словно выщипанные крысами. Но это была чистая ложь, толки зависти, и мой отец всегда при этом говаривал, что «всему есть начало».

На пятнадцатом году ознакомился я с основными правилами искусства брадобрея, и хотя сначала, брея бороды, иногда вместе с волосами отрезывал и мясо» но вскоре я достиг высшей степени искусства. Впоследствии я был посвящен в тайны выдергивания зубов и пускания крови. Конечно, и тут сначала

делал я порядочные промахи: выдергивал здоровые зубы вместо больных, прорезал артерии вместо кровяных жил; но как же без этого обойтись? Впрочем, как мой отец очень умно замечал, «всему есть начало», и так как я мог совершенствоваться в своем звании только в практике над живыми людьми, то и должен был, как говорил мой отец, «один терпеть для блага общего». На двадцатом году я был уже искусным брадобреем.

И между тем, несмотря на столь быстрые успехи на этом поприще, судьба не хотела, чтобы я долго оставался на нем. Подобно пущенному из пушки ядру, которое в своем быстром полете при слабейшем препятствии принимает другое направление, жизнь моя приняла другое направление оттого, что на пути своем я встретил женщину.

Между лучшими клиентами моего отца был один, которого он брил уже несколько лет, часто выдергивал ему зубы и, наконец, в заключение по предписанию одного знаменитого врача ежедневно пускал ему кровь. Я был часто в его доме, но не для того, чтобы открывать ему кровь: отец мой слишком уважал и любил его, чтобы доверить его мне; но я держал тарелку, приносил воду и приготовлял перевязку.

У этого господина была дочь, прелестная девушка, предмет моих сокровенных мыслей и желаний, но между нами было такое неизмеримое расстояние, что я не смел и подумать когда-нибудь высказать ей тайну сердца. Я был тогда прекрасным молодым человеком, хотя время и сделало меня теперь столь же старым и гадким, как оно само. Я понравился молодой даме. Она жаловалась на зубную боль, просила помощи. Я предложил ей свои услуги и готовился выдернуть зуб, но дошли ли до нее слухи о моем искусстве, или не желала она прервать наши свидания, пли, наконец, что всего вероятнее, у нее вовсе не болели зубы, она не согласилась на мое предложение.

Матери лишилась она еще в малолетстве и при жалком положении ее отца была без руководителя, без защиты Природа наделила ее горячим темпераментом, и так как она предалась влечению чувств, то и приближалась своим обхождением со мною к явной погибели. К концу года она была уже не в состоянии скрывать своего несчастного положения.

Теперь я был в большом затруднении. У нее были Два брата на военной службе, которые уведомили ее, что намерены скоро приехать к отцу, и мщения которых я боялся. Хотя я очень любил мою Марию (так звали ее), но жизнь свою любил

еще более. Одним вечером собрал я все, что мог назвать своим, а также и принадлежавшее моему достопочтенному батюшке, и сел на генуэзский купеческий корабль, готовый к отплытию. Это было большое судно с двенадцатью пушками и шестьюдесятью человеками экипажа. Купеческие суда этого рода не нуждаются в прикрытии, и каждый неприятельский корабль, встречающийся им на пути, объявляют своей добычей. Местом нашего назначения была Генуя. Груз корабля состоял из свинца, который служил просто балластом.

Скоро из разговоров экипажа я узнал, что мы пойдем в Геную не прямой дорогой. Откровенно сказать Вашему Благополучию, этот корабль был не что иное, как корсарское судно, а экипаж состоял из отборных удальцов. Лишь только на корабле узнали о моем звании, как сделали мне честь быть брадобреем шестидесяти закоренелых злодеев, каких когда-либо освещало солнце, и за труды свои получал я одни только толчки да ругательства.

Мы уже обчистили несколько кораблей, как однажды наткнулись на английский фрегат. На суше я никогда не сходился с англичанами, но могу уверить Ваше Благополучие, что на море это такие нахалы, каких еще никогда не нашивали на себе волны. Им не довольно заниматься самими собой, они ввязываются везде и всегда. Они встретят ваш корабль, и говори им, откуда идешь, куда, что у тебя на борту – говори им все, как будто они уполномоченные досмотрщики целого света.

Нашему капитану не хотелось подвергнуться подобным допросам. Он велел поставить все паруса, направил корабль на маленький остров, находившийся от нас не далее, как в семи милях, и встал под прикрытием батареи на якорь. Австрия, которой принадлежал этот остров, не вела тогда с Англией открытой войны, но держалась так называемого «нейтралитета».

Фрегат следовал за нами, но так как по мелководью он не мог приблизиться к нам, то были спущены лодки для обзора нашего корабля. Их было шесть; на носу каждой по пушке и с порядочным числом людей, а потому наш капитан рассудил за благо встретить незваных гостей по-своему. Чтобы дать им знать, что он презирает их меры, он послал им навстречу гостинец из ядер и картечи; ответом на этот прием были бешеные крики, и англичане устремились на нас еще с большим остервенением.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Простолюдин.

2

Сказочник.

---

Купить: https://tellnovel.com/frederik-marriet/mnogoskazochnyy-pasha

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити